Двадцать дней без войны (Так называемая личная жизнь (Из записок

Константин Симонов

SHOUT
SHARE
IT

- Симонов Константин
  - ○

Симонов Константин Двадцать дней без войны (Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина) - 2)

Константин Михайлович СИМОНОВ
ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ
РОМАН
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
(ИЗ ЗАПИСОК ЛОПАТИНА)
В ТРЕХ ПОВЕСТЯХ
1

Возвращаясь на редакционной "эмке" из-под Ржева, Лопатин на объезде у Погорелого Городища попал под утреннюю немецкую бомбежку, перележал ее в снегу и нанюхался гари от разрывов.

Если б за пять минут до этого успели обогнать по обочине колонну порожних грузовиков, тоже шедших к Москве, попали бы в самую кашу. Два передних грузовика разбило в щепки. Но не обогнали, и обошлось перележали.

Как ни глупо, а могли отдать концы на этом объезде, уже на пути к Москве, после того, как за две недели на фронте так ни разу и не подсунулись под близкий обстрел. Везло. А впрочем, не только везло. Если не врать самому себе, то на этот раз, после Сталинграда, он поехал сюда, под Ржев, без большой охоты. Устал от чувства опасности и никуда особенно не совался.

После бомбежки отъехали уже десять километров, а внутри все еще ныло от страха. Он остановил водителя и, чтобы избавиться от нытья под ложечкой, выпил с ним по глотку из фляги и закусил мерзлым сухарем. Стоял мороз, и вслух - считалось, что по этой причине и выпили.

Когда Лопатин к вечеру добрался до редакции, которая еще весной вернулась на свое прежнее место, на Малую Дмитровку, редактора не было. Оказывается, он улетел под Котельниково, где немцы пытались прорваться к Сталинграду. Секретарша сказала, что редактор с утра перед вылетом вызывал к себе Гурского и Гурский все знает.

- Подите к нему!

- Прибыл? П-посиди или п-полежи. - Гурский, не вставая из-за стола, показал рукой на диван. - Д-дописываю п-передовую.

Сейчас в последнем абзаце сок-крушу третий рейх, отнесу и

п-поговорим...

Он подвинул по столу папиросы:

- Д-дыми в пределах гуманности. А то все т-толкутся, все д-дымят, а я сижу тут и к-кашляю - слабогрудое городское дитя.

Фортку открывать - холодно.

Он говорил все это, не отрывая глаз от бумаги и продолжая писать, навалясь широкой грудью на стол; все, кто приезжал с фронта, действительно толклись у него и по делу, и без дела, просто чтобы послушать его остроты.

- Сок-крушил, - сказал он через несколько минут, собрал листки, вышел и тут же вернулся и сел рядом с Лопатиным.

- Чего он меня держал там и чего вдруг вызвал? - спросил Лопатин о редакторе.

- Д-держал, как я д-догадываюсь, чтобы ты написал об освобождении Ржева, а вызвал потому, что перспектива пока отодвигается. Отб-бывая на фронт, п-приказал, чтобы ты написал что-нибудь обобщающее на д-два подвала: та зима и эта. Год н-нынешшш и год м-минувшнй. Могу подарить тебе это название лично от себя.

Ну, как вы т-там наступали?

Лопатин пожал плечами:

- П-посредственпо?

Лопатин не ответил. Его покоробило. В общем-то, это была правильная оценка того, что происходило на Западном фронте, но само слово "посредственно" никак не сочеталось с теми отчаянными усилиями во что бы то ни стало продвинуться еще на километр или на два, которым он был свидетель в последние дни.

Гурский усмехнулся его молчанию. Он привык к своей коробившей других безапелляционности и гордился ею.

- Зато могу тебя порадовать, - сказал он, - т-там, под К-котельниково, ф-фрицам уже не светит п-прорваться к Сталинграду.

Начали бить им м-морду и продолжаем по н-нарастающей. П-попросился поехать с редактором, но он приказал сидеть здесь и и-писать передовые по его ук-казаниям оттуда. К-каждому свое.

Где заночуешь?

- А мой номер в "Москве" за мной? - спросил Лопатин.

- За т-тобой, куда же ему деться.

- Тогда поеду в "Москву" - писать.

- Н-не торопись, - прощаясь, сказал Гурский. - Вид у т-тебя усталый, и, если завтра не сдашь, мир не рухнет. Заг-гон есть.

Хотя он и был на двенадцать лет моложе Лопатина, но привычно говорил с ним как старший, советов которого надо слушаться. Заботливый к тем, кого любил, он взамен хотел

нравственной власти.

- Да, - уже простившись, вспомнил оп, - письмо от д-дочори. - Порылся в ящике стола, вынул и отдал Лопатину письмо. - Завтра расскажешь мне, к-как она там живет.

В гостинице "Москва" хотя и экономно, но топили. Три недели назад, когда Лопатин вернулся из Сталинграда и редактор устроил его сюда, топили только на двух этажах, теперь - на трех. Народу прибавилось. Об этом ему сказала дежурная по шестому этажу, которой он отдал одну из двух привезенных с фронта банок американской тушенки.

Дежурной хотелось отблагодарить его, и она спросила, не нужно ли второе одеяло. А когда он сказал, что не нужно, предложила постирать и подшить ему к утру подворотничок.

Он пошел в номер, разделся, отнес ей гимнастерку и, вернувшись, залез в кровать под одеяло и полушубок и стал читать письмо, полученное от дочери.

Это пришедшее из Сибири, из Омска, письмо было результатом тех последних перемен в его личной жизни, которые хотя и надвигались давно, но разразились, как запоздалый дождь, лишь в этом году: между двумя его поездками на фронт, весной, к нему в Москву приехала жена и заявила, что выходит замуж.

Еще с ее прошлогоднего, декабрьского, нелепого приезда в Москву ему было ясно, что ту жизнь, какой они жили, вряд ли разумно длить дальше. Но у него не было ни времени, пи окончательной решимости ставить самому так называемые точки над и, о которых с такой легкостью говорят люди, наблюдающие со стороны чужое неустройство. Времени не было, потому что была война, на которую он ездил, как заведенный, то на один фронт, то на другой, а окончательной решимости не хватало, потому что в деревне, под Горьким, жила их общая дочь, продолжавшая получать письма от них обоих и хотя чувствовавшая неблагополучие, но не знавшая его меры.

Во всяком случае, так ему до поры до времени казалось.

Была еще одна причина. Уже зная, что его жена живет вдали от него с другим человеком, он все еще продолжал высылать ей аттестат. С кем бы она там ни жила, деньги, наверное, были ей нужны, и самому писать, что им надо развестись, значило бы напоминать, что он может лишить ее этих денег. Ему претила эта мысль, связанная с другой: а вдруг она из-за этих денег пойдет на какую-нибудь совсем уж унизительную ложь.

Но весной она сама свалилась ему как снег на голову. Может быть, у нее были и какие-то еще дела в Москве, но сказала, что приехала, только чтобы объясниться с ним, прежде чем выйти замуж за другого.

Он только накануне вернулся из Крыма, злой, мрачный, натерпевшийся горя и страха на Керченском полуострове. И, уже вернувшись, не то чтобы понял понимал и раньше, а шкурой чувствовал, что смертен и мог пропасть ни за понюшку табаку. Все заготовки для корреспонденции, все, ради чего мотался там, в Крыму, с места на место, пошло коту под хвост. Писать в газету было нечего и не о чем. Редактор при всей своей жадности к материалам даже не спросил, что привез. Только при встрече крепче обычного пожал руку, молчаливо поздравляя, что остался жив.

Он-то остался. Но из головы не выходили другие...

И это состояние его духа, наверное, повлияло на их встречу с женой, приехавшей в Москву для объяснений в каком-то слепом ко всему окружающему, самодовольном ощущении собственного благородства.

Она приехала прямо в редакцию рано утром, сразу с поезда.

Он ночевал в редакции, по ключ от их квартиры был у него.

Вахтер позвонил снизу, разбудил еще спавшего Лопатина и сказал, что к нему просит разрешения пройти женщина, Ксения Сергеевна.

Лопатин наспех оделся и спустился в вахтерскую.

Она демонстративно покорно стояла, прислонясь к стене с чемоданом в руках. Он взял чемодан.

- Ключ от квартиры у тебя? - спросила она.

Он кивнул.

- Может быть, поедем домой?

- Сначала поднимемся, - покосившись на вахтера и не говоря ни "да", ни "нет", ответил он. И, поискав глазами, сунул чемодан под канцелярский стол, за которым сидел вахтер. - Пусть пока постоит.

Они поднялись на третий этаж, в комнату, где он в ту весну жил, когда приезжал с фронта. Она огляделась и села на край стула.

- Теперь, когда мы вдвоем, может, ты все-таки поцелуешь мне руку? спросила она.

Это было из какой-то пьесы. Он не помнил из какой, но помнил, что из пьесы, и это раздражило его, напомнило, что она завлит театра и живет с директором, которого зовут Евгением Алексеевичем.

- Почему не дала телеграммы, я бы тебя встретил? Было бы все же умнее, - сказал он.

Она замялась, и он подумал, что, если она приехала в Москву не одна, а он бы ее встретил, все вышло бы не умнее, а еще глупее.

- Может быть, все-таки поговорим дома, а не здесь - в канцелярии?

- Я здесь живу, - сказал он.

- Ты догадываешься, зачем я приехала? - спросила она, подняв на него глаза. Она была все так же красива, и этого по-прежнему нельзя было не заметить.

- Нет, не догадываюсь, - сказал он.

Это была правда. Всю свою жизнь с нею он почти никогда не мог догадаться, что ей придет в голову в следующую минуту.

- Я пришла просить, чтобы ты снял с меня грех и отпустил меня, - не дождавшись ответа, сказала она. - Я должна выйти замуж за Евгения Алексеевича.

Сказала "пришла", а не "приехала", - наверное, заранее обдумала. Грешницы не приезжают, а приходят.

Он еще раз посмотрел на нее, на ее изящно и грустно изогнувшееся на стуле знакомое тело, и удержался от грубости, не сказал:

"Ну что ж, раз должна - так и выходи!" Промолчал.

В конце концов, при чем тут она? Во всем виновата не она, а вот это ее тело, которое он целых пятнадцать лет любил рассудку вопреки. "И не мог оторваться от него, не мог отлипнуть", - с презрением к собственной слабости подумал он о себе.

Она смотрела на него, а он молчал. Ей казалось, что он злится или, как она мысленно привыкла выражаться, "закусывает удила", он, наоборот, смягчился, удивленный мыслью о собственной вине.

Раньше раздраженно привык считать ее виноватой в том, что в нужном ему теле жила ненужная ему душа, равнодушная к тому, чем он жил и что делал, занятая только собой, да и собой-то - по-глупому.

Да, все так, но он-то умный, а не глупый, и с царем в голове, - он-то что сделал, чтобы все это не длилось пятнадцать лет?

"Теперь уже шестнадцать", - поправил он себя, потому что, несмотря на разрыв в прошлую зиму, их все еще что-то связывало.

И не он, умный, а она, глупая, клала сейчас всему этому конец.

- Ты должен быть спокоен за меня, - не выдержав молчания, сказала она. - Я выхожу замуж за хорошего человека.

И зачем-то расстегнула планшетку. У нее была теперь не сумка, а планшетка, разозлившая его дамская дань военному времени.

Может быть, хотела показать ему фотографию хорошего человека, за которого выходила замуж?

Он подумал об этом с иронией, но остановил себя: а почему

непременно за плохого? Ведь и ты считал себя хорошим. И жил с ней.

Но фотографию хорошего человека ему видеть не хотелось, и, наверное, это выразилось на его лице. Она со вздохом застегнула планшетку.

- Неужели так и будем разговаривать с тобой здесь?

- А где же еще? - сказал он без вызова, с удивившей ее мягкостью. И добавил, что сделает все, как она хочет. Если хочет, чтобы прямо сейчас пошел с нею в загс, пойдет туда. Если хочет, чтобы написал заявление о разводе, напишет и отдаст ей.

У нее выступили слезы; простота, с которой он согласился сделать то, зачем она ехала, расстроила ее. Она хотела именно этого, но хотела, чтобы это было как-то по-другому.

"Вот такая она и всегда - без царя в голове", - подумал он с глухим отзвуком давно умершего и, значит, все еще не до конца умершего чувства к ней.

- Лучше напиши, - вытерев слезы, сказала она.

Он сел за стол, написал и, оставив ее одну, сходил к помощнику редактора заверить подпись и поставить печать. Он не был уверен, необходимо ли это, но не хотел, чтобы потом оказалось, что ему надо делать что-то еще.

Когда он положил перед Левой Степановым бумагу и сказал:

"Заверь", тот, макнув ручку в чернила, поднял глаза и долго смотрел на него. Возвращаясь, он еще чувствовал на себе этот сочувственный взгляд. Всего-навсего первый из многих. Наверное, и другие будут считать, что такие немолодые и некрасивые не оставляют женщин. Что женщины уходят от них сами.

Он вошел в комнату и отдал своей бывшей жене удостоверенную редакционной печатью и вложенную в редакционный конверт бумагу.

Она взяла эту бумагу с печатью, расстегнула планшет и, положив ее туда, снова застегнула.

"Вот так все и кончается", - подумал он о прожитых с нею годах. Те, какими они были с нею, они кончились, а тех, какими они могли быть без нее, уже не будет. Он с чувством потери чего-то невозместимого вспомнил себя тогдашнего, тридцатилетнего. Его, тогдашнего, уже не будет - ни для какой другой женщины. Теперь будет только он теперешний, немолодой и не по адресу истративший свои душевные силы. И поэтому не верящий в ту часть себя, которая не война и не работа.

- Сядь, поговорим, ты ведь хотела, - сказал он, садясь на койку и накидывая на плечи полушубок. Его знобило. Он только умел казаться, но не умел быть каменным.

- Нет, я буду ходить, мне так легче, - сказала она и со

скорбным лицом и сплетенными за спиной руками стала говорить разные глупости, выношенные заранее, в дороге.

В сущности, это было длинное предисловие к просьбе отпустить ее с богом. И оно имело какой-то смысл раньше, перед этим, а не теперь, когда он уже отпустил ее. Но ей было жаль оставлять при себе все эти заранее приготовленные и теперь уже бессмысленные слова.

А он слушал и думал: "Нет, она ехала сюда в поезде все-таки не вдвоем, а одна - чтоб прорепетировать всю эту околесицу, нужно было время и одиночество".

Она говорила о себе, всегда понимавшей его. И о нем, никогда ее не понимавшем. О своих жертвах, принесенных ради него.

О том, как она рядом с ним постепенно перестала быть самою собой и как только теперь, без него, снова чувствует себя человеком.

Все это было не ново. Новым было только одно: у нее в планшете лежал кусок бумаги с печатью, за которым она приехала, и она выясняла отношения, которых уже не существовало, забыв о том единственном, что еще продолжало существовать между ними, - об их дочери, которую ни она, ни он не видели уже десять месяцев, после эвакуации школы. Он так и не смог выбраться туда, под Горький, а она так и не удосужилась съездить.

Он не спорил. Того, чем все это в прежние времена кончалось, всегда одинаково - в постели, сейчас уже не могло быть. Он молчал и ждал, когда она все-таки заговорит о дочери, но она думала и говорила только о себе.

Он снял трубку и попросил по телефону, чтобы ему дали на час редакционную машину.

- Куда ты собрался? - спросила она, остановившись посреди комнаты.

- Хочу отвезти тебя домой. Скоро начнется работа, будут приходить люди.

При слове "домой" она вдруг посмотрела на него старым, тем взглядом. Может быть, подумала, что он хочет, чтобы и этот разговор кончился тем же, чем кончались прежние. И кто ее знает, как бы она поступила, если бы он захотел этого сейчас? Какую форму торжества над ним выбрала: сказав "нет" или в последний раз сказав "да"?

- Может быть, достать тебе бронь на билет у нас в редакции? - спросил он, встретив ее взгляд.

- Мне ничего не надо, у меня все есть.

- Тогда я тебя отв.езу. - Он вынул из кармана и отдал ей ключ

от квартиры.

В машине оба молчали. Молчали и поднимаясь по знакомой лестнице. У дверей в квартиру остановились, и он поставил чемодан.

- Как мы поступим с Ниной? - спросил он о дочери. Спросил, хотя всю дорогу в машине думал об этом и уже решил, как поступить.

- Я думаю, что пока ничего не надо писать, - неуверенно ответила она, и у нее снова легко навернулись слезы.

- Пока - что? - спросил Лопатин. - Пока ты не решишь или пока я не решу? Пока - что? - повторил он.

Он знал, что есть еще и другие "пока". Пока идет война, пока его не убьют или пока он не останется жив на этой войне. Пока она сама не поймет, насколько ей будет мешать в ее новой жизни пятнадцатилетняя дочь, если взять ее к себе. Наверное, будет мешать, но насколько?

- Я еще ничего не решила, - сказала Ксения, не вытирая глаз и просительно глядя на Лопатина, словно ему ничего не стоило отложить этот разговор.

- А я решил. Я напишу ей, что мы разошлись с тобой. Ей пятнадцать лет, и она должна все знать. Не думаю, что это особенно удивит ее.

- Все равно для девочки это будет ужасное горе.

- Ничего, - сказал он. - Кругом нее сейчас гораздо больше всякого другого, более ужасного горя, чем это.

- Тогда я тоже напишу ей.

- Это твое дело. Я напишу ей и постараюсь с ней повидаться.

А потом отправлю в Омск к сестре, если сестра согласится взять ее до конца войны.

- Не знаю, я должна подумать. Я могу захотеть взять ее потом к себе. Ты должен учитывать эту возможность, когда будешь писать ей или говорить с нею.

- Я не напишу и не скажу ей о тебе ничего плохого. - Он хотел добавить, что дочь не дура и достаточно насмотрелась на их отношения. Но удержался. Уже решил, что не отдаст ей дочь и сумеет сделать это, потому что его желание не отдать ей дочь сильнее ее желания взять дочь к себе. И, чувствуя свою силу, пе захотел быть грубым.

- Не знаю, - беспомощно махнула она рукой. - Поступай как хочешь. Ты и так сделал все, чтобы отдалить ее от меня.

Он промолчал, хотя это была неправда. Он никогда и ничего пе делал для того, чтобы отдалить от нее дочь. Он просто был ей ближе, чем мать, и это началось давно, с тех пор, как девочка пошла в школу и начала делиться с ним, а не с ней главным из

того, что происходило в ее маленькой, отгороженной от них жизни.

- Хотя я чувствую себя сейчас виноватой перед тобой, но виноват все равно ты, - сказала она с полными слез глазами.

Ну что ж, в этом была доля правды!

- Будем считать, что так, - сказал он и, поцеловав ей руку, пошел вниз по лестнице.

- Вася! - окликнула она его, когда он уже спустился на дяа марша.

- Что? - остановившись, спросил он.

Она смотрела на него, свесившись через перила.

- Спасибо, что ты на меня не сердишься. И больше не высылай мне аттестата, не нужно.

- Хорошо, не буду. - Он, не оборачиваясь, пошел вниз.

2

Так он расстался со своей женой, которая с тех пор прислала ему три письма и в первом из них заверенную у нотариуса копию свидетельства о разводе.

Третье, осеннее письмо было уже не из Казани, а из Ташкента.

Оказывается, ее мужа перевели туда, тоже директором, но в другой театр. Она писала, что рада этому переводу. Новое место, новые люди, и ничто не напоминает ей о прежнем.

"Ну и радуйся, пожалуйста. Я-то тут при чем?" - сердито подумал он тогда, осенью, прочитав это письмо. Но все равно ответил на него, как и на два первых, что жив, здоров, все нормально.

У него не было причин обижать ее, не отвечая на ее письма.

Пускай они не особенно умные, но ведь это при тебе, казалось бы, умном человеке, она так и не поумнела за пятнадцать лет совместной жизни...

С дочерью он сделал все, как решил. Вызвал по редакционному телефону на переговорную в Омске свою старшую, замужнюю, но бездетную сестру. Докричался до нее, объяснил в нескольких словах, что произошло, и получил разрешение прислать дочь.

- Только если она сама захочет, слышишь? - кричала на него по телефону сестра. - И чтоб Ксения носа к нам не совала - выставлю! И сам не качайся, - снова крикнула она. - Слышишь?

- Слышу, слышу, - сказал он. - Уже не качаюсь, хватит.

Сестра знала, что он два раза, еще до войны, собирался расстаться с Ксенией, да так и не расстался. Дождался войны.

Сестра была учительницей математики, и была замужем тоже за учителем математики, и там, в Омске, работала в одной с ним

школе тридцать пять лет, с девятьсот седьмого года. Ксению она знала, но не любила и, наезжая в Москву, останавливалась не у брата, а у своих знакомых.

Видела несколько раз и девочку. В последний раз, когда ей было двенадцать лет. И, уезжая к себе в Омск, на вокзале бесцеремонно сказала на прощание Лопатину:

- На тебя наплевать, нисколько тебя не жалею, - что посеял, то и пожал. А за девочку страшно. Жаль, что нет закона: отнимать детей у тех, кому они не нужны.

Когда Лопатин сказал по телефону, что вышлет на дочь аттестат, а кроме того, постарается отправлять посылки, сестра ответила:

- Разумеется! Кормить-то ее надо! А как у нас - сам догадываешься. Присылай все, что сможешь. Не бойся, кроме нее, ни на кого не истрачу.

Можно было этого и не говорить, но по своему самоедскому характеру все-таки сказала! Еще потом, после войны, заставит читать целый гроссбух сколько было получено и на что истрачено!

Ничего не поделаешь, такая уж была она - не подходи, ушибешься, - его старшая сестра Анна Николаевна, которую с детства любил и с детства боялся, а теперь собирался отправить к ней свою дочь.

Писать дочери о том, что произошло, он не стал. Попросил ехавшего в эти дни через Горький в Балахну в командировку по бумажным делам начальника издательства захватить на обратном пути дочь. Написал ей короткую записку, чтобы приехала повидаться, пока он здесь, в Москве, и послал ей вызов. Оформить его было сложно, но редактор, в свое время обещавший, но так и не отпустивший Лопатина съездить к дочери, теперь, как ни трудно, устроил этот вызов.

Девочка приехала растерянная и счастливая. Первое, что спросила, пока ехали с вокзала в редакцию:

- А где мама?

Но когда отец объяснил, что матери нет в Москве, понимающе кивнула:

- Я так и подумала, а то бы ты вместе с ней написал.

Ехала и смотрела по сторонам на московские улицы, на закамуфлированные, перекрашенные дома, на ежи, на сохранившиеся, еще не разобранные по сторонам от проезжей части Садового кольца баррикады... Сказала:

- Всем у нас так хочется в Москву...

Он привез ее не домой, а в редакцию, в ту комнату, где неделю назад объяснялся с ее матерью.

Утром с помощью товарищей он перетащил сюда из других комнат диван и два пустых канцелярских шкафа - отгородил ей закуток.

- Поживешь тут два-три дня со мной на казарменном положении.

Дочь счастливо кивнула, и по глазам ее было видно, что она готова не два-три дня, а хоть до конца войны жить тут с ним рядом на казарменном положении. И он почувствовал себя таким виноватым перед нею, хоть плачь.

- А подольше нельзя? - не удержалась и спросила она.

- Нельзя, - ответил он. Потому что и в самом деле было нельзя. Шли бои на Харьковском направлении, и, если б не дочь, он улетел бы туда сегодня же, а не через два дня, как договорились теперь с редактором.

Он начал напрямик, с самого трудного, с рассказа о том, что произошло между ним и ее матерью. Но разговор этот оказался проще, чем он думал. Хотя что значит "проще"? Для него, может, и проще, а как для нее, неизвестно. Проще оттого, что она не плакала? Но она вообще никогда не плакала.

Она выслушала и спросила:

- Мама не оставила для меня письма?

- Не оставила. Сказала, что напишет тебе.

- А как ты думаешь, она не вернется?

Можно было ответить просто: думаю, что не вернется. Но надо было договаривать все до конца, и он сказал, что сам не хочет, чтобы ее мать возвращалась к нему.

- Совсем не хочешь?

- Совсем не хочу.

Она поняла, что он говорит правду. Сидела молча, потом спросила:

- Ты совсем не знаешь ее мужа?

- Совсем не знаю, - сказал он и добавил: - Хочу надеяться, что он хороший человек.

Она пожала плечами, как старшая, с котором заговорили, как с маленькой.

Он ожидал, что самым трудным будет уговорить ее ехать в Сибирь к тете Ане, но она отнеслась к этому со взрослым пониманием безвыходности своего положения.

- Хорошо, я поеду. - И спросила, долго ли идут туда письма.

Он не мог толком ответить. Сестре за время войны писал всего

два раза, а ее письма получал, возвращаясь с фронта, не зная, сколько они пролежали в редакции.

- Я буду оттуда писать маме, хорошо? Ты не возражаешь? -

спросила она.

И, поспешив ответить: конечно, нет, не возражает, он даже не понял сразу, каким важным был этот вопрос, оставлявший ее с ним и отделявший их обоих от матери.

Нет, разговор об отъезде в Сибирь оказался не самым трудным.

Самое трудное наступило на третий день утром. Ему надо было улетать; внизу у подъезда дожидался в машине летевший вместе с ним фотокорреспондент, а у дочери был билет на уходивший в Сибирь вечерний поезд. И уже ничего нельзя было поделать ни с его командировкой, ни с ее отъездом. Гурский обещал посадить ее в поезд и договориться с проводниками. И не приходилось сомневаться, что он сделает все это не хуже, чем сам Лопатин. А всетаки в последние минуты, когда наспех пили чай с бутербродами втроем - он, она и Гурский, - на лице дочери, таком взрослом до этого, вдруг с детской откровенностью выразилось страстное желание, чтобы не уезжали ни он, ни она, чтобы все продолжалось так, как было в эти два с половиной дня - может быть, самые интересные во всей ее жизни. Она прожила их вместе с ним, со своим отцом, здесь, в редакции, окруженная добрым любопытством всех этих военных людей, с которыми он знакомил ее в длинных редакционных коридорах и которые сами заходили в его комнату, чтобы взглянуть на живущую у него на казарменном положении дочь, а потом начинали при ней говорить с ним о своих делах: где кто был, что написал и кому и на какой фронт снова надо лететь или ехать...

"А вдруг все-таки можно остаться здесь и хотя бы дождаться тебя? говорили устремленные на Лопатина глаза дочери. - Может быть, все-таки можно? Ну, как-нибудь".

Он даже пожалел, что, наверно, поступил как-то не так, дав ей прожить эти два с половиной дня здесь, в редакции. Но что было делать? Он допил стакан чая и поднялся.

Она тоже встала, жалко опустив плечи.

- П-послушай меня, Н-нина! - сказал наблюдавший за ними обоими Гурский. - Я ч-чувствую, что ты хотела остаться у нас здесь работать, ск-кажем, курьером.

- Да! - Она вздрогнула от неожиданности и подняла на Гурского недоверчивые глаза.

- П-понимаю твое желание, - сказал Гурский. - Тем более что я сам начал эту бод-дягу в редакции чет-тырнадцати лет от роду. Но сейчас время военное, немцы до сих пор не так уж д-далеко от Москвы, и ни твой отец, ни я, ни даже наш редактор, хоть он и д-дивизионный к-комиссар, не можем оставить у себя на рабботе несов-вершеннолетнего ребенка, тем более д-девочку. Ты в какой

класс переходишь, в д-девятый?

- В девятый. Я уже сдала по двум предметам.

- Вот и поезжай в Сибирь к т-тетке, сд-дай там по всем оставшимся п-предметам и п-переходи в свой д-девятый класс. А мы пока отгоним фрицев п-подалыпе от Москвы и б-будущим летом, когда тебе будет шестнадцать лет, вернемся к этому воп-просу.

Ясно?

Она улыбнулась сквозь слезы. Она все-таки плакала. Никогда не плакала, а сейчас плакала.

- И не реви, п-пожалуйста, раз тебе ясно. Твой отец уезжает не на к-курорт, а на в-войну, и не по собственной п-прихоти, а по и-предписанию начальства. Он должен быть спокоен за тебя.

А чтобы он был спокоен, ты должна жить у тетки в Сибири и кончать свой девятый класс. Твой отец гораздо лучше п-пишет, чем г-говорит, а я, наоборот, гораздо лучше говорю, чем п-пишу, хотя и заик-каюсь при этом. Поэтому говорю тебе коротко и ясно то, что он сказал бы д-длинно и н-неясно. Ты мне дашь адрес, и, как только он вернется с фроыта, я тебе дам т-телеграмму и подпишусь: "Д-дядя Б-боря". Ты мне нравишься, и я хочу быть твоим д-дядей. А к-кроме того, советую тебе слушать по вечерам радио.

Как только твой отец из-под Харькова пришлет нам свою п-первую корреспонденцию, мы ее напечатаем, и ее сразу же п-передадут по радио. И ты б-будешь знать, что он жив и зд-доров.

- Я знаю, - сказала она. - Мы в школе всегда слушали по радио.

- Тем более. Может быть, ты не усп-пела этого заметить, по я люблю твоего отца и не хочу, чтобы ты п-провожала его слезами.

В-возьми себя в руки и пошли - проводим его. П-потом я буду сидеть и работать, а ты будешь сидеть и ч-читать, п-потом мы с тобой пооб-бедаем, а вечером я п-провожу тебя и только п-после этого займусь своими личными д-делами.

Когда спускались с лестницы, Гурский шел впереди, а Нина сзади него, рядом с Лопатиным. Одной рукой она крепко держала отца за руку, а в другой несла его шинель.

Так вдвоем, ее с шинелью в руках и Лопатина, которого она держала за руку, и щелкнул у подъезда редакции Гриша Кулаковский, вместе с которым Лопатин, уже в шестой раз подряд, ехал на фронт.

- Когда вернемся и проявлю пленку, пришлю тебе, - обещал он Нине. - И повернулся к Лопатину: - Вася, в какой раз мы с тобой едем вместе? В шестой или в седьмой?

- В шестой, - сказал Лопатин. - Не крутись, поехали!

Ему хотелось скорей уехать. Он боялся, что девочка может не справиться с собой. Так оно и вышло.

Когда Кулаковский уже залез в глубь машины и пришел черед садиться Лопатину, дочь отчаянно повисла у него на шее. Он ждал, что она сама оторвется, но она не отрывалась, и ему пришлось, взяв ее за плечи, оторвать от себя. Несколько раз поцеловав ее мокрое, несчастное лицо, он быстро сел в машину и захлопнул дверцу. Машина вильнула по узкому редакционному двору, и он, повернувшись, уже не увидел дочери.

- Любит тебя! - сказал Кулаковский.

- Что? - не расслышав, занятый своими мыслями, переспросил Лопатин.

- Говорю, любит тебя!

Лопатин ничего не ответил, хотя, вспомнив прожитую жизнь и сравнив то, что он успел сделать для дочери, с тем, чего не успел или не сумел, надо было бы ответить: "Не за что!"

Они с Кулаковским прилетели на Юго-Западный фронт, когда в воздухе уже запахло бедой, и в последнюю ночь перед тем, как замкнулось кольцо харьковского окружения, добрались в две разные армии, действовавшие одна южней, другая северней Харькова. Препирались перед этим - так или наоборот, - кому - в какую.

В результате ты жив-здоров до сих пор, а его нет! Погиб вместе с двумя своими аппаратами - стареньким ФЭДом и новенькой трофейной "лейкой", которой щелкнул перед отъездом во дворе редакции тебя с дочерью.

"Так и не вернулся, не проявил той пленки", - подумал Лопатин, лежа сейчас, через полгода после всего этого, под одеялом и полушубком в отапливаемом, но все равно холодном номере гостиницы "Москва" и читая пришедшее от дочери письмо.

Дочь писала, что у нее все отметки четыре или пять, что она кончила медкружок и через двое суток на третьи ходит дежурить в госпиталь ночной санитаркой.

"Наверное, клюет после этого носом на уроках", - улыбнулся, читая письмо, Лопатин.

Письмо было бы совсем хорошее, если б не приписка, что "тетя Аня не пишет, потому что приболела, лежит, передает тебе привет.

Только что ставила ей банки". Значит, и банки научилась там ставить! А сестра больна. Раз лежит - дело серьезное: такие, как она, пока с ног не свалятся, не лягут.

Уже засыпая, он с раздражением подумал о Ксении: есть у девочки мать, здоровая, еще молодая баба, а ребенка пришлось навязать на шею старой больной женщине. И хотя до конца войны

ничего другого, чем то, что он сделал, сделать было нельзя, у него все равно оставалось чувство какой-то нелепой вины, словно у девочки могла быть не эта, а другая мать, словно он когда-то давно мог выбрать ей в матери кого-то другого...

Проснувшись, съев выдававшийся в гостинице по талонам на завтрак винегрет и выпив чаю, Лопатин сел отписываться. Писал весь день до вечера и весь следующий, почти не выходя из номера.

Писать было трудно, потому что наступление было трудное. Наступали, ради того чтоб любой ценой приковать к себе стоявших против Москвы немцев, не дать им перебросить резервы на юг, где у них все сыпалось и трещало по швам. И если бы можно было вот так откровенно и написать про это, все сразу стало бы на свое место. Но как раз об этом и нет права писать. Во время войны такая откровенность за гранью дозволенного.

На второй вечер Лопатин позвонил Гурскому. Редактор еще не вернулся с фронта.

Лопатин попросил отсрочки, сказал, что, наверное, перекрестит все написанное и с утра начнет в другом разрезе. Назовет "Вторая зима" и напишет про один полк, в котором был. О том, как в снегу по горло три дня брали превращенную немцами в узел обороны совхозную усадьбу и все же взяли ее!

- Н-насколько я понимаю, - сказал Гурский по телефону, - редактор ожидал, что ты возьмешь п-пошире.

- А у меня пошире не выходит. Выходит как раз поуже!

Скажи мне, как, по-твоему, название? И можно ли сдать послезавтра утром?

- Н-название не самое гениальное, а н-насчет "м-можно", то с т-тех п-пор, как редактор п-перевел тебя в писатели, можешь ссылаться на т-творческие т-трудности. В пределах суточного оп-поздания, б-болыне все равно не сов-ветую!

Гурский положил трубку, наверное очень довольный собой.

Слова насчет перевода в писатели были его обычным ёрничеством.

В поле зрения, или, точней, притяжения редактора Лопатин попал случайно. Он всегда много ездил и в одну из таких дальних поездок, когда вдруг начались халхин-голские события, оказался рядом с ними и своим будущим редактором - в Чите. А уже через сутки вылез из самолета в Монголии в своем штатском костюмчике, который впервые в жизни предстояло сменить на военную форму.

В финскую войну редактор вспомнил о нем и вытребовал к себе в армейскую газету. А в начале этой войны, уже не спрашивая согласия, призвал как командира запаса и забрал в

"Красную звезду".

У редактора не было ни времени, ни охоты читать книги, которые Лопатин писал до их встречи. Главным для него было, что Лопатин работает с ним уже на третьей войне, а писатель или не писатель Лопатин - он не размышлял. Да и, но правде говоря, настоящими писателями считал только тех немногих, кого все знают, о ком услышишь на каждом углу. К ним он и относился как к писателям, старался, чтобы они почаще писали в газету, а если они оказывались на фронте, давал телеграммы своим корреспондентам, чтобы по возможности берегли писателей от пули и отправляли их материалы в Москву раньше собственных.

Лопатин хорошо знал все это и не стремился стать для редакюра "писателем".

"А там, после войны, будет видно, кто на что способен, - думал он иногда, перелистывая свои фронтовые тетради, которые вел по возможности регулярно и знал им цену. - Хватило бы духу да не разбиться бы где-нибудь по дороге на самолете! А материала - хватит! "

В этой последней мысли присутствовала доза яду: мол, некоторым другим, кто по-другому, чем ты, ездит, может и не хватить.

А тебе-то хватит!

Перемену в отношении к себе редактора Лопатин заметил после возвращения из Сталинграда. Он высидел там в 62-й армии безотлучно почти два месяца. Переправился через Волгу в конце сентября, а уехал в ноябре, после того, как Юго-Западный и Сталинградский фронты соединились у Калача и взяли немцев в кольцо. Дождался этого там, в Сталинграде, и накануне отъезда передал по военному проводу последний очерк о людях, продержавшихся до конца на своих последних сталинградских "пятачках".

До этого послал из Сталинграда еще четыре очерка - тоже больше о людях, чем о событиях. Потому что, по сути, люди и были тем главным событием, которое произошло в Сталинграде. Событием было то, как они воевали и, несмотря ни на что, выстояли.

За это время у Лопатина два раза возникал соблазн попроситься в Москву, как говорят в таких случаях, "отписаться".

А в сущности, передохнуть от опасности. Но он преодолел себя и высидел. И наверное, оттого, что дольше, чем когда-нибудь, просидел в одном месте, по многу раз встречаясь с одними и теми же людьми, глубже понял их и лучше написал про них - сам это чувствовал.

Очерки перепечатали в "Правде". И передали по радио.

Редактор, встретив Лопатина в Москве, поздравил с высокой оценкой его очерков "наверху". Так именно и выразился. И сказал, что приказано издать их отдельной книжкой. И что Алексей Николаевич Толстой, с которым он говорил по телефону, тоже похвалил очерки, назвал их художественными.

Потом вдруг предложил отпуск на месяц.

- Посажу тебя под Москвой, в Архангельском: напишешь нам что-нибудь совсем художественное, чтобы печатать с продолжениями.

Под "совсем художественным" редактор подразумевал что-нибудь с вымыслом, например повесть.

"Совсем художественное" Лопатин писать был не готов и от кабалы такого отпуска скрепя сердце отказался. Вместо этого просто неделю передохнул: до поездки на Западный фронт сидел в редакции и правил чужие материалы.

После своих "художественных" очерков Лопатин стал в глазах редактора писателем. Не таким известным, как те, другие, но всетаки писателем. Над этим и язвил Гурский.

Лопатин провозился над корреспонденцией еще день и утро, но все не мог найти концовки, когда Гурский позвонил ему снова.

- Имей в виду, прибыл с фронта и сп-прашивал п-про тебя.

Сказал ему, что раб-ботаешь над словом, обт-тачиваешь художественные детали. Но д-долыне, чем до вечера, обтачивать не советую! Если какие-нибудь заминки с п-пейзажем, в крайнем случае я впишу. Ты же знаешь: я мастер п-пейзажа. К-какой-нибудь там колко п-похрустывающий снежок или обнаженно беззащитные б-березки, - п-пожалуйста, могу б-бесплатно!

Лопатин привез корреспонденцию поздно вечером.

Редактор встретил его недовольно:

- Что-то ты завозился не по-газетному.

И сразу стал читать за своей конторкой написанное Лопатиным. Прочел до конца, пошевелил губами, прикидывая, как ото влезет в макет номера, и, без колебаний перекрестив красным карандашом полторы страницы, сказал:

- Поставим завтра четырехколонником.

Потом воткнул своим красным карандашом вопрос перед названием "Вторая зима".

- Считаешь, что хорошо назвал?

- Считаю, что хорошо.

- Не соответствует содержанию, - недовольно сказал редактор. Обобщения-то у тебя не получилось!

- Не получилось, - согласился Лопатин.

- Какая же это "Вторая зима"? - Редактор перечеркнул название "Вторая зима" и поставил вместо него "В одном из

полков". - Вот теперь соответствует. Ожидал от тебя большего. Но в общем, вышел из положения.

Слова "вышел из положения" значили, что редактор и сам понимает трудности, которые стояли перед Лопатиным, но не хочет говорить с ним на эту тему, недоволен чем-то еще, кроме корреспонденции. Чем именно недоволен, выяснилось ровно через минуту, после того как он подписал и отправил материал в типографию.

- Как это понять? - спросил он, порывшись на столе и сунув Лопатину под нос какую-то бумажку. - Сам не мог попросить? Решил на меня нажать? Так имей в виду: эта бумажка для меня пустой звук!

- А я ничего не собираюсь просить, - сказал Лопатин. - И им объяснил, чтоб не писали, - откажешь.

- А ты за меня не решай, откажу или не откажу. Если для дела надо - не откажу. Только зачем в обход?

Он был не на шутку обижен, и Лопатину пришлось объяснить, как было дело с этой бумагой из Комитета кинематографии. После возвращения из Сталинграда ему прислали сценарий киноновеллы, написанный по одному из его сталинградских очерков. В сценарии было много галиматьи. Тот, кто его сделал, не нюхал фронта, и Лопатин не подписался под этим сочинением.

Тогда председатель комитета предложил, что попросит редактора об отпуске: пусть Лопатин съездит на несколько дней в Ташкент и там, на месте, с режиссером исправит в сценарии все, что нужно.

Лопатин отказался, сказал, что он завтра уезжает на фронт, а когда вернется, все, что сможет, поправит в Москве.

- А они все-таки написали. У них горит с этим боевым киносборником. Так что ты зря раскипятился.

- Ты знаешь, как я к тебе отношусь? Только поэтому, - сказал редактор.

В его устах это было извинением - в той предельной форме, на которую он был способен.

- А раз хорошо относишься, не будь подозрительным.

- А ты меня не учи.

- А я старше тебя, вот и учу.

В глазах редактора на секунду мелькнуло что-то, вдруг заставившее Лопатина вспомнить, как в начале их знакомства на Халхин-Голе после какого-то препирательства редактор поставил его по стойке "смирно". Потом, когда они подружились, он отрицал это и говорил, что не помнит такого случая, но такой случай всетаки был. И, вспомнив этот, все-таки бывший с ним, случай, интендант второго ранга Лопатин улыбнулся, глядя на

стоявшего перед ним дивизионного комиссара.

- Чего скалишься?

- Радуюсь, что набрался храбрости - нагрубил старшему по званию.

- Скоро новые звания введут, - сказал редактор.

- Хочешь стать генералом? - спросил Лопатин.

- Мало интересуюсь, - сказал редактор.

Этому, положим, Лопатин не поверил! Генералом стать редактор хотел.

- А за тебя действительно буду рад, когда присвоят тебе майора вместо интенданта. Интендант - как-то глупо для корреспондента, - сказал редактор.

Спорить не приходилось.

- Как дела там, где ты был? - спросил Лопатин.

- Дела хорошие, - сказал редактор. - Танковую группу Гота не только остановили, но и наполовину перемололи. А то, что от нее осталось, еще день-два - и погоним обратно! Выпить по сто грамм не хочешь?

Такое можно было услышать от него раз в год по обещанию.

- Я-то всегда готов, - сказал Лопатин.

- Пойдем. - Редактор быстро, словно боясь по дороге передумать, пошел впереди Лопатина в другой конец кабинета и открыл дверь в закут, где он наспех два раза в день принимал пищу и спал свои четыре часа в сутки. Пустой чай он пил прямо в кабинете с утра до ночи.

Войдя в закут, редактор сел на койку, потянулся к шкафу, достал оттуда водку, начатую банку с пастеризованными огурцами, два стакана и одну вилку.

- Открой, - скомандовал он Лопатину, сунув ему в руки бутылку.

- Вижу, дело нешуточное, - кивнул Лопатин на огурцы. Он знал, что эти пастеризованные огурчики были единственной гастрономической прихотью равнодушного к еде редактора. - Неплохо б еще и хлеба, если он есть, конечно.

- Забыл, - виновато сказал редактор и вытащил из шкафа тарелку с несколькими кусками хлеба и маслом.

Лопатин подождал, не достанет ли он нож, но о ноже редактор забыл. Вынув из кармана складной ножик, Лопатин намазал толстым слоем масла кусок хлеба и кивнул на бутылку:

- Разрешите приступить?

- По половине, - сказал редактор. - Вдруг вспомнил, что у меня день рождения. Тридцать девять.

- От жены телеграмму получил? - спросил Лопатин.

- Получил.

- Когда?

- Утром, как прилетел.

- Чего ж ты мне темнишь, что вдруг вспомнил? - рассмеялся Лопатин. - Не хотел со мной выпивать, пока не убедился, что я за твоей спиной отпусков не выбиваю? Эх, ты!

- И от Сергея получил. - Редактор застенчиво улыбнулся.

У него иногда появлялась на лице эта, мало кому знакомая в редакции, застенчивая улыбка, когда дело шло о чем-то личном:

о жене, о сыне или о нем самом.

- Что он пишет?

- Дал понять, что пока еще не воюют, стоят во втором эшелоне... Больно уж рано я женился - в девятнадцать лет. Если б как другие... - редактор не договорил, замолчал.

- А ты любишь спешить. И когда надо, и когда не надо, - усмехнулся Лопатин, угадавший недосказанное: если б женился, как другие, лет в двадцать пять, сын был бы еще в школе, а не на фронте.

Он взял бутылку и налил редактору полстакана, а себе доверху.

- Раз позвал на день рождения, с меня взятки гладки. Тем более что материал в наборе. Будь здоров, Матвей! Я тебя люблю, хотя, пока ты мое начальство, мне трудно тебе это доказать.

- Снимут - докажешь, - сказал редактор и, отпив немножко, с сомнением поглядел на стоявший перед Лопатиным пустой стакан. - По-моему, ты раньше меньше водки пил.

- За время войны здоровей стал, - выпив водки, Лопатин один за другим подцепил несколько огурцов и заел хлебом с маслом. - Нет, в самом деле, даже удивляюсь себе. Раньше, после ХалхинГола, и простуживался, и печенка болела, а за эти полтора года - ничего. Некогда, что ли, при таком начальстве, как ты?

- Вот так хлопнешь стакан - и ничего, на работе не отражается? спросил редактор с удивлением непьющего человека.

- Не отражается, - сказал Лопатин. - Даже когда два, если, конечно, закусываю. - Он намазал маслом еще кусок хлеба.

- А у меня от полстакана в голове шумит, хотя моложе тебя на шесть лет.

- Даже на семь, - поправил Лопатин. И подумал о том, о чем редко думал за эти полтора года войны, - что он старше не только редактора, а почти всех, кто работал у них в газете. - Я, Матвей, хотя и немолодой, но жилистый, принадлежу к той здоровой части гнилой русской интеллигенции, которую и двумя стаканами водки с ног не собьешь.

- Не подговаривайся, все равно больше не дам.

Редактор чуть было не потянулся к водке - убрать со стола, но

в последний момент удержался.

- Ладно, пойду, - Лопатин встал. - У тебя уже, чувствую, шило в стуле.

- Да, надо еще две полосы читать. - Редактор тоже поднялся, но на лице его изобразилось колебание.

- Пойду,- - повторил Лопатин.

- Погоди. Если у них там действительно горит с этим киносборником, могу тебя отпустить в Ташкент дней на пять. Только не так, как они просят туда и обратно, а чтоб вышло - по дороге на фронт. Полетишь или поедешь до Ташкента, там пять дней на все твои дела, а оттуда через Ашхабад Красноводск на Кавказский фронт. Даже если поездом, думаю, все равно успеешь, пока у них что-нибудь большое начнется. Возможно, попадешь там, на Кавказе, к своему Ефимову!

Ефимов после обороны Одессы и Севастополя командовал армией на Северном Кавказе. Редактор одобрял, когда корреспонденты по второму разу ездили к тем, у кого уже были; считал, что это помогает замечать происшедшие перемены.

- Но если ехать - завтра же!

- А если не через Ташкент? - спросил Лопатин.

- Путь все равно кружный, - сказал редактор. - Через Гурьев - Баку. Другого, короче, пока нет. Если даю тебе пять дней на Ташкент, значит, вправе их дать. Поезжай! А то в самом деле опасно! Очерк был у нас в "Звезде", все в нем правильно, а они нагородят там по нему какую-нибудь киноахинею! Потом расхлебывай! В Ташкенте тебя встретит наш корреспондент по Туркестанскому округу, обеспечит пребывание и дальнейший путь.

Так Лопатин отбыл в эту командировку. Посреди дороги предвиделся отпуск, но конечный адрес был тот же, что и всегда:

"Действующая армия"...

4

Вагон был мягкий, но такой старый, что казалось, вот-вот рассыплется. Было тряско и холодно - садило изо всех щелей, но Лопатин все равно почти напролет проспал первые трое суток.

За Оренбургом потянулись ледяные степи, станций было мало.

Стояли подолгу и на станциях и на разъездах, пропуская составы с нефтяными цистернами. Кроме них, ничего почти и не шло навстречу оттуда, из Средней Азии. Составы были длинные, но шля быстро. Гнали по зеленой улице к фронту бакинскую нефть. Через Каспийское море, Красноводск, Ташкент.

В сводках Информбюро говорилось о нашем наступлении, продолжавшемся в Сальских степях и на Дону, и эти заполнявшие

всю дорогу, гремевшие навстречу эшелоны с нефтью сильней всяких сводок напоминали Лопатину о фронте, от которого он пока что все удалялся и удалялся. И было как-то не по себе, что едешь не в ту сторону, соблазнившись этим неожиданным отпуском от войны.

Лежа у себя на верхней полке, он вспоминал, где и сколько был с начала войны. Вышло, что ездил на фронт девятнадцать раз, а в Москве из полутора лет пробыл меньше трех месяцев. Подсчитывал в самооправдание; конечно, должность военного корреспондента не самая трудная на войне; другие люди как начали войну, так и воюют до сих пор там, где пришлось, не ездя ни в какую Москву. Но верно и другое: и в самой Москве, и дальше нее, в тылу, много военных людей, с такими же шпалами на петлицах, как у тебя, все еще служат вдали от фронта; когда пошлют, тогда и поедут. Каждому свое. Дали отпуск, и пользуйся им.

Перед тем как лечь спать, он вышел в коридор покурить. Стоял у окна и посматривал на женщину, которая стояла у соседнего окна и тоже курила.

Женщина была молодая и красивая, и он вспомнил о Ксении, которая теперь в Ташкенте. Встречаться с ней он не собирался, но мог и встретиться: киностудия, театр, а можно и просто так где-то столкнуться...

"Ну и увидимся, что ж из того? Для меня это теперь ничего не значит. Не должно значить", - подумал он и снова посмотрел на молодую и красивую женщину у соседнего окна. Кто знает, куда и почему она едет. Может, от мужа, может, к мужу. И не помнит сейчас о себе - что красивая, думает о чем-то совсем другом, и кажется невеселом...

А действительно красивая! Он оглядел ее с головы до ног.

Хорошо бы встретить в других обстоятельствах такую, как эта.

Для него, конечно. Для нее навряд ли он в свои годы и со своей внешностью мог представлять какую-нибудь ценность.

Она тоже несколько раз полуоборачивалась и смотрела на него.

Смотреть было не на что. Может, обратила внимание на орден Красного Знамени и две нашивки за легкие ранения...

Он не любил свою неказистую, как он сам считал, внешность, И когда-то, в первые годы жизни с Ксенией, даже испытывал глупую, как ему теперь казалось, благодарность к ней за то, что она, такая красивая, вышла замуж за него, такого некрасивого.

Но все равно ему было приятно, что его снова и снова тянет сейчас смотреть на эту стоявшую у соседнего окна женщину. В

самом этом желании было радовавшее его чувство свободы от прошлого. Он даже суетно пожалел, что рядом с Красным Знаменем у него нет на груди второго, довоенного ордена - "Знак Почета" - за участие в экспедиции, снимавшей со льдины папанинцев. Он потерял этот орден после переправы на лодке из Крыма, когда, уже на Тамани, в одних подштанниках грелись в хате, а все, что развесили сушиться на дворе, разнесло в клочья прямым попаданием бомбы. И гимнастерку и орден. Подал потом в Москве заявление о замене, но пока не заменили.

Поглядывавшая на него женщина, докурив папиросу, ушла, должно быть, спать. И он тоже вернулся в свое купе с намерением завалиться до утра.

Но заснуть не пришлось. Занявший еще с утра освободившуюся верхнюю полку напротив Лопатина капитан, летчик, начал его расспрашивать: кто да что. А когда узнал фамилию, сказал, что читал его сталинградские очерки, один даже вырезал из "Звездочки" и возит с собой. Полез в планшет и в самом деле достал вырезанный очерк - тот, в котором Лопатин писал о связистке, убитой в депъ, когда она получила письмо с Северо-Западного фронта от своего пропавшего без вести еще в сорок первом году мужа. Утром получила с полевой почтой это письмо, которое несколько месяцев шло из-под Новгорода в ее родное село в Забайкалье, а оттуда - в Сталинград, и, счастливая, показывала его Лопатину, а днем поползла восстанавливать перебитую линию и погибла.

Лопатина поразило и совпадение - все в один день! - и то, как переживали ее смерть, казалось бы, ко всему привыкшие люди.

Он написал в очерке о том, как переплетаются на войне счастье и несчастье. И как вдруг почувствовавший себя счастливым человек находит в душе силы не беречь себя, а, наоборот, пойти навстречу опасности.

Восстановить перебитую связь могли послать и кого-то другого.

Но пошла навстречу опасности именно эта женщина - сразу же, никого не спросясь.

- Вы сами лично с ней говорили? - спросил авиационный капитан, хотя из очерка было ясно, что Лопатин с ней говорил.

- Лично, - сказал Лопатин.

- Красивая она?

- Довольно красивая.

- Хорошая женщина, - сказал капитан и вздохнул так, что Лопатину показалось, что его попутчик сейчас заговорит о том, своем, собственном, из-за чего вздохнул.

Но капитан не заговорил, молчал.

- На чем летаете? - спросил Лопатин.

- На "дугласах", - сказал капитан. - К партизанам ходим.

Лопатин, еще ни разу не летавший к партизанам, стал расспрашивать, какие там, в партизанском краю, площадки, какая с ними связь и какая сигнализация при посадках.

Поговорили об этом еще полчаса и, не возвращаясь к тому, с чего началось, заснули.

Вечером следующего дня, когда поезд после долгой стоянки на узловой станции Арысь наконец тронулся, Лопатин, не заходя в купе, стоял у окна и смотрел на станционные огоньки.

- Что смотрите, товарищ майор? - спросил капитан. - Знакомая станция?

- Станция знакомая, - сказал Лопатин. - Но смотрю не поэтому. На огни. Отвык, что без затемнения.

- И я, пока пять дней там, в деревне, жил, где у меня жена в эвакуации, - свет, правда, слабый - керосин, и не в каждой избе, а все-таки вечером ходил, смотрел, как окошки светятся...

Капитан снова вздохнул о чем-то своем и снова, кажется, был готов заговорить об этом, но не заговорил...

Они простились с капитаном на станции Ташкент. Стояла ночь.

Поезд остановился где-то на путях, капитан предложил помочь донести вещи, но Лопатин сказал, что его обещали встретить у вагона, и остался ждать.

Капитан пожал ему руку, откозырял и пошел. За его широкой спиной на ходу мотался влево и вправо тощий вещмешок, а в руке приплясывал пустой чемодан.

"Все, что у него с собой было, наверно, оставил там, в деревне, где у него жена в эвакуации", - подумал Лопатин.

На путях и повсюду кругом лежал снег, было неправдоподобно холодно для Ташкента. Вагон был в самом хвосте поезда, и Лопатин, положив у ног вещи, долго топтался на морозе, пока увидел двух спешивших к нему людей.

Один, наверное, был здешний корреспондент "Красной звезды" подполковник Губер, которого Лопатин никогда не видел в глаза, только знал о нем, что он после тяжелого ранения признан ограниченно годным и второй год служит в Ташкенте. В редакции обещали дать ему телеграмму с номером вагона. А вот кто второй - высокий в штатском?

- Товарищ Лопатин, Василий Николаевич? Не обознался? - подходя к Лопатину, спросил широкоплечий подполковник и протянул руку. - С прибытием! Губер, Петр Федорович.

Высокий, остановившийся сзади него, шагнул из-за его спины и, каким-то рыдающим, нечеловеческим голосом вскрикнув:

"Вася!", обнял Лопатина.

Все было неузнаваемо в этом человеке. И голос, в котором вместо прежних медных труб осталось одно рыдание, и неправдоподобно худая фигура, и постаревшее лицо, которым он, как слепой, тыкался сейчас в лицо Лопатину. И все-таки это был он, именно он - Слава, Вячеслав Викторович, старый товарищ и одно время, в их литературной молодости, даже покровитель Лопатина, человек, с которым он и хотел и боялся встретиться здесь, в Ташкенте.

- Я вчера принес Петру Федоровичу стихи для вашей газеты и узнал, что ты приезжаешь, и он великодушно согласился взять меня с собой, - продолжая держать за плечи Лопатина своими тоже не прежними, неуверенно подрагивающими руками, говорил Вячеслав Викторович, стараясь усилить свой голос до знакомых медных труб. - И надеюсь, что мы поедем отсюда прямо ко мне и ты будешь жить у меня, сколько тебе заблагорассудится.

- В офицерском общежитии по телеграмме редакции место оставлено, выжидательно сказал Губер.

- Петр Федорович, - снова стараясь дотянуть голос до прежних медных туб, сказал Вячеслав Викторович, - я уже просил вас не упоминать об этом общежитии.

- Докладываю обстановку, как она есть, - с оттенком досады сказал Губер.

- Я тебя очень прошу, только у меня, - Вячеслав Викторович повернулся к Лопатину и снова положил ему на плечи свои подрагивающие руки. - Я не понимаю вообще, о чем мы тут разговариваем?

И хотя он произнес последние слова с вызовом, в вызове этом было что-то неуверенное, похожее на просьбу о прощении, хотя Лопатину нечего было ему прощать. И Лопатин сказал: "Спасибо, конечно, поедем к тебе". И попросил Губера отказаться от брони в офицерском общежитии.

Они поехали в казенной "эмке" Губера по заметенному снегом Ташкенту и остановились между двумя одноэтажными домами, у низкой арки ворот.

- Прошу и вас ко мне на огонек, Петр Федорович, - сказал Вячеслав Викторович, когда они вышли из "эмки".

- Благодарю, нет, - довольно резко ответил Губер, так, словно ему предлагали это уже не в первый раз. - Когда выспитесь, заеду за вами, договоримся о дальнейшем. В одиннадцать не рано?

- Не рано, спасибо, - сказал Лопатин.

Губер откозырял и полез в "эмку".

И что-то натянутое в этой маленькой сцене заставило Лопатина вспомнить, как месяца четыре назад, в Москве, Гурский

сказал ему:

- Слушай, п-прояви гум-манизм. Там у редактора лежат ст-тихи твоего д-друга, которые прислал наш корреспондент из Ташкента, а он уп-перся и не хочет п-печатать.

Лопатин сходил к редактору, но тот ничего не желал слышать.

- Мне его стихи из Ташкента не нужны. Пусть попросится поехать от нас на фронт - попробуем, пошлем. А из Ташкента - нет!

Какой-то оттенок того разговора с редактором Лопатин почувствовал сейчас в отношении Губера к Вячеславу Викторовичу. Наверное, не хотел брать его с собой на вокзал...

"Эмка" отъехала, стрельнув из-под колес снегом, и Вячеслав Викторович, рассеянно проводив ее взглядом, повернулся и показал Лопатину на ворота.

- Я там... со двора. Только не поскользнись, у нас темно, я пойду первым.

Комната, в которую они вошли, пройдя перед этим по закоулкам длинного двора, была довольна большая. Голая, без абажура, лампа горела вполнакала под самым потолком. Было полутемно и холодно. У одной стены стояла накрытая паласом широкая продавленная тахта, у другой - шкаф. Посреди комнаты - обеденный стол и несколько стульев.

Кажется, здесь была еще одна комната: Лопатин заметил дверь, полуприкрытую занавеской на деревянных кольцах.

- Раздевайся, - сказал Вячеслав Викторович. - Клади прямо сюда. - И сам бросил на тахту знакомое Лопатину довоенное заграничное демисезонное пальто, теперь сидевшее на нем, как на вешалке.

Лопатин поставил вещи и, скидывая на тахту полушубок, вспомнил прежний кабинет Вячеслава там, в Москве, с большими окнами и ярко-желтыми простенками, в которых висели старые теребеневские лубки войны двенадцатого года. Там тоже была широкая тахта, и ее накрывал спускавшийся со стены ковер.

И в этой нынешней комнате, на вытертом паласе, словно память о прошлом, висела шашка. Одна, но все-таки висела!

- Не опрокинь там кашу. - Вячеслав Викторович, подойдя к тахте, развернул узбекский ватный халат и вынул из него кастрюлю. - Еще горячая, - сказал он, потрогав ее, и поставил на стол. - Сегодня у меня сравнительно ничего, тепло, верно? Подтопил к твоему приезду. А вообще скверно. Зима лютая, нездешняя, и угля нет, хоть воруй! А может, тебе все же холодно?

Он снова подошел к тахте и, взяв халат, накинул его на плечи Лопатина.

- Грейся, он еще теплый от каши. Хорошая вещь, эти халаты!

У меня три. Ими и спасаюсь, когда угля нет. Особенно по утрам холодно, когда утренний намаз совершаешь. Хоть не мойся!

А помнишь, какая жара стояла в Пянджикенте тогда, в тридцать четвертом году?

Лопатин помнил, какая тогда стояла жара, но гораздо лучше помнил другое: как, попав тогда в Среднюю Азию, черной завистью завидовал Вячеславу, который перед этим, во время боев с басмачами, целую неделю находился при штабе Кавдивизии у знакомого ему и воспетого им потом в стихах комдива.

"Что же все-таки случилось с ним? И как могло случиться именно с ним?" - подумал Лопатин, садясь за стол напротив Вячеслава Викторовича, который, виновато пожимая плечами, говорил ему, что не успел добыть ничего существенного.

- Могу тебя приветствовать только тем, что видишь на столе.

На столе была каша, хлеб, банка с бычками в томате и бутылка портвейна.

- Могу пополнить, - сказал Лопатин. - Имею кое-какие запасы.

- Пополнишь через три дня, когда будем встречать с тобой Новый год. А сегодня мои хлеб-соль, какие есть! - Вячеслав Викторович налил по стакану портвейна. - До сих пор не верю глазам, что ты сидишь передо мной. Но, как говорят братья узбеки, "хоп майли" - так оно и есть!

Он чокнулся с Лопатиным и первым выпил.

- Как ты располагаешь - спать пли разговаривать? Я поирежнему полуночник!

- На первый раз могу соответствовать, - сказал Лопатин. - В дороге выспался почти до отказа.

- Тогда проговорим до утра! А потом положу тебя спать там, у мамы, на мамину кровать... - Вячеслав Викторович кивнул на дверь с занавеской.

Это было как раз то, о чем не решался спросить у него Лопатин с первой минуты, как вошел в эту комнату, где не было следов ни женских рук, ни женского дыхания. Он знал, что мать Вячеслава тогда, в августе сорок первого, тоже уехала с ним в Ташкент; уез.ала и его жена Ирина. Но жены могло и не быть с ним. Она и до войны то бывала, то не бывала... А мать...

- Что с мамой? - спросил Лопатин, боясь того ответа, который услышал.

- Умерла три месяца назад. На той самой кровати, на которой будешь сегодня спать. Сразу! Даже "скорая помощь" не успела приехать. От старой грудной жабы, которой она всегда страдала. Климат ей почему-то не подходил, хотя врачи, наоборот, говорят,

что перемена климата помогает... А ей не подходил! Плохо переносила жару. Того лета почти не застала, это выдержала, а в сентябре умерла... Мама часто вспоминала тебя... И всех других, кого она любила. Она ведь одно из двух - или любила, или не любила... Я всегда завидовал в ней этому. Сердилась на вас, на тех, кого любила, что не пишете мне писем сюда, и на меня, что я вам не пишу писем туда. Я пробовал ей объяснить, что в сложившихся обстоятельствах не могу писать тебе первым.

Но она не желала этого понимать. Говорила: ну, так пусть он напишет первым... Только не думай, что я хотел получать от вас письма. В какие-то минуты хотел, но чаще не хотел. Особенно от тебя!

- Почему "особенно"? - спросил Лопатин.

- Потому что ты старше меня, а не моложе. И перед тобой нет даже того оправдания, к которому я в минуты слабости прибегаю, думая о своих учениках. А иногда я думаю, что они вообще никогда ничему у меня не учились. А если и учились, не желают помнить об этом.

- Почему? - Лопатин внутренне вздрогнул от неподдельной горечи сказанного. - Ты в свое время так много хорошего сделал для них, что свинья тот, кто это забудет! Я как раз недавно встретил на фронте, в дивизионной газете, этого твоего любимца, которому ты предрекал особенно много... И он поминал тебя добрым словом.

- Он два раза писал мне, - сказал Вячеслав Викторович.

- А ты?

- А я два раза ответил. Оба раза одно и то же: спасибо, что ты помнишь меня... Больше мне нечего было ему написать. Если желаешь знать правду, вчера, услыхав, что ты приедешь, я полночи думал: как мне быть? Может, вообще не попадаться тебе на глаза? А потом не выдержал. Наверно, наслушался там, в Москве, издевок по моему адресу?

Лопатин кивнул.

- А теперь я хочу объяснить сам.

Но хотя сказал, что хочет объяснить, долго ничего не объяснял. Сидел и молчал, уперев локти в стол и обхватив голову руками.

А Лопатин сидел напротив и смотрел на эти исхудалые, подрагивающие руки.

Нет, Вячеслав не был похож на человека, струсившего на войне, но счастливого тем, что он спасся от нее. Он был не просто несчастен, он был болен своим несчастьем. И те издевки над ним, которые слышал Лопатин в Москве, при всем своем внешнем правдоподобии были несправедливы. Предполагалось, что,

спасшись от войны, он сделал именно то, чего хотел. А он, спасшись от войны, сделал то, чего не хотел делать. И в этом состояло его несчастье.

Да, да, да! Все против него! Он всю жизнь писал стихи о мужестве, и читал их своим медным, мужественным голосом, и при случае давал понять, что участвовал и в гражданской войне, и в боях с басмачами. Он постоянно ездил по пограничным заставам и считался старым другом пограничников, и его кабинет был до потолка завешан оружием. И в тридцать девятом году, после того, как почти бескровно освободили Западную Украину и Западную Белоруссию, вернулся в Москву весь в ремнях, и выглядел в форме как само мужество, и заставил всех верить, что, случись большая война - уж кто-кто, а он на нее - первым!

И вдруг, когда она случилась, еще не доехав до нее, после первой большой бомбежки вернулся с дороги в Москву и лег в больницу, а еще через месяц оказался безвыездно здесь, в Ташкенте.

Было не с ним одним; было и с другими такими же сорокалетними, как он. И на фронт не ездили, а просто эвакуировались, уехали. Приняли близко, некоторые даже слишком близко, к сердцу советы сберечь себя для литературы и получили разные брони.

Но другим как-то забыли это, спустили - кому раньше, кому позже. А ему - нет, не забыли! Слишком уж не сходилось то, чего от него ждали, с тем, что вышло...

"Но ведь и он сам тоже, наверное, ждал от себя другого, чем вышло? И не может этого ни забыть, ни простить себе, - думал Лопатин, глядя на молча сидевшего Вячеслава Викторовича. - Иначе о чем говорить и зачем говорить?"

- Можешь мне не верить, - наконец оторвав руки от лица и положив их перед собой на стол, сказал Вячеслав Викторович, - но я правда заболел тогда. Страшно, глупо, может быть, для когото неправдоподобно, но заболел. Когда наш эшелон там, не доезжая Минска, разнесло в щепы и я вылез из-под откоса, среди стонов, среди кусков людского мяса, только что бывших людьми, я понял, что не смогу сесть на другой поезд и ехать еще раз через все это - туда. Меня рвало раз за разом, до желчи, до пустоты, и я не мог преодолеть себя. Я вернулся в Москву с этой трясучкой, которая и до сих пор не прошла. И врачи мне сказали, что я болен, что у меня после шокового потрясения... - Он употребил латинское название болезни, которое Лопатин где-то слышал. - Я не просил; они сами, видя мое состояние, отправили меня на комиссию и демобилизовали.

"Не был бы ты известный писатель, на комиссию, может, и

послали б, а демобилизовали бы вряд ли! Отправили бы на первое время в тыловые части, с ограниченной годностью", - жестоко подумал Лопатин, не из неприязни к Вячеславу, а просто так, для точности. В таких вещах он любил точность.

И Вячеслав Викторович словно угадал его мысли:

- Не думай, я понимаю, что с кем-то другим могли бы и подругому. Но со мной так. И наверно, правильно. Ты можешь сказать, что еще не поздно, что я могу попроситься и мне разрешат поехать в какую-нибудь армейскую газету. Наверно. Но я не могу.

И не потому, что цепляюсь за жизнь. Не цепляюсь. Совершенно не хочу жить. Но боюсь самого себя. Боюсь во второй раз того же позора. Я не могу перешагнуть не через страх смерти, а через ужас этой боязни за самого себя. Что ты молчишь, как проклятый? Что я еще должен тебе сказать, чтобы ты сам наконец заговорил?!

Он выкрикнул это с такой жаждой, чтобы его кто-то оправдал, нашел для него слова утешения, что Лопатину стало не по себе от сознания, что у него нет за душой таких слов.

- Тебе надо поменьше вспоминать обо всем этом, - сказал Лопатин, - и побольше работать. Раз не можешь преодолеть себя, делай то, что можешь. Другого выхода нет. Я, во всяком случае, не вижу.

- Я работаю, - сказал Вячеслав Викторович. Он ждал чегото другого, а не этих простых слов. - Я работаю, - повторил он. - Сижу здесь и пишу стихи о войне. Пишу дрянь. И сам понимаю, что дрянь, потому что не могу, сидя здесь, писать о войне не дрянь.

"Ну так пойди служить, коли пишешь дрянь", - чуть было не сказал Лопатин.

- Не пишется о войне - пиши о другом.

- Я пишу. Почти каждую ночь пишу о другом. Пишу книгу про собственную свою жизнь, никому сейчас не нужную.

Так и осталось непонятным, про что сказал "никому не нужную" - про эту книгу или про свою жизнь?

Наверное, надо было попросить его что-нибудь прочесть из этой книги. Наверное, он ждал этого. Но Лопатин не попросил. Дай бог, если это хорошо! А если плохо?

Та решимость отчаяния, с которой Вячеслав сказал ему правду о себе, ставила в глазах Лопатина этого оказавшегося таким слабым перед лицом войны человека намного выше людей, которые вели себя низко, но при этом жили так, словно с ними ничего не случилось, и, легко согласившись, чтобы вместо них рисковал жизнью кто-то другой, сами продолжали существовать,

сохраняя вид собственного достоинства.

И все-таки правда Вячеслава о себе была только его правдой, а не вообще правдой. Вообще-то, перед лицом войны он хотя и мучился этим, все-таки жил неправедной жизнью. И это тоже была правда. И более важная.

И, полный добра к этому человеку, Лопатин все равно не мог перешагнуть в своих чувствах через эту главную правду. И тот чувствовал это.

Вячеслав Викторович разлил портвейн до конца - вышло еще почти по стакану - и молча выпил, с поспешностью человека, с трудом удерживающего себя от этого.

"Уж не спиваешься ли ты вдобавок ко всем своим несчастьям?" - с тревогой подумал Лопатин.

- Не злоупотребляешь?

- К счастью, нет такой возможности, - сказал Вячеслав Викторович. - С трудом выклянчил сегодня, под тебя, эту бутылку.

Водка на черном рынке, наверно, сам знаешь почем. Пью на свои, своих мало, а в шутах и прихлебателях ни при ком ие хожу, пока удерживаюсь.

Житейская горечь, с которой он это сказал, напомнила Лопатину, как этот человек и умел и любил пить, а еще больше любил поить других, и именно на свои!

- А мало - не оттого, что бездельничаю. Книгу пишу по ночам, а днем тружусь по мере сил, больше, чем когда-нибудь. И по радио выступаю, и чужие стихи перевожу, и песни для кино пишу.

И в окружной военной газете начинающих консультирую. И свое старое всюду, где могу, читаю. Старое еще помнят! Не бездельничаю, напрасно подумал.

- А я и не думал, - сказал Лопатин.

- Расскажи лучше о себе. От других слышал много, хочу от тебя. Только сперва съедим кашу, пока теплая. - Вячеслав Викторович снял крышку с кастрюли.

Они съели кашу - Лопатин без особой охоты, а Вячеслав Викторович с жадностью человека, привыкшего есть не досыта. Доел кашу, макнул корку хлеба в соус, оставшийся на дне банки из-под бычков, и вытер ее досуха.

Лопатин молчал, ему не хотелось рассказывать о себе. Во всяком случае, о том, чего, наверно, ждал Вячеслав: где был, что видел, где ранили, за что орден... Что-то мешало рассказывать сейчас об этом. Все равно что сытый голодному - о еде. Сделал вид, что не понял вопроса, и сказал о своей личной жизни, что окончательно разошелся с Ксенией.

- Я знаю, - сказал Вячеслав Викторович. - Встретил ее не так

давно на улице; сама сказала. Горда, что разошлась с тобой, как она выразилась, по-хорошему. А я тоже один.

Этого можно было и не объяснять. И так видно, что он один.

- В прошлом году, когда попал сюда, Ирина прибыла меня жалеть, но я выставил. Если бы просто так, наверно бы, не выставил. Но уж слишком откровенно было написано на ее богоматерном лике, что явилась совершить христианский подвиг. Отбыла и вновь живет собственной жизнью вдали от меня. Наверно, война правильно делает, когда занимается хирургией. Хотя и прошла мимо меня, но это в моей жизни отрезала.

"Насчет отрезала верно, - подумал Лопатин, - а что прошла мимо неправда. Ни мимо кого она не прошла! Хочешь не хочешь, а война все равно теперь в каждой жизни. И в чьей-то трусости, и в чьей-то храбрости, и в чьих-то попытках жить как ни в чем не бывало".

- А впрочем, в моем положении не мне судить других людей, в том числе и Ирину, - с вымученным смирением добавил Вячеслав Викторович.

- Это не разговор, - сказал Лопатин. - Судить может каждый каждого. И как бы это поласковей выразиться? - только недалекие, что ли, люди могут считать, что если они раз в жизни поступили храбрей других, это на всю остальную жизнь делает их судьями чужих поступков. Не приемлю такого взгляда! Человек на войне и судья и ответчик. И считать себя только тем или только другим нельзя! Сорок первый год почти по каждому из нас так стукнул, что кости до сих пор трещат!

И, лишь сказав это, понял, как важно было сказанное для Вячеслава.

- Тебе тоже было очень страшно тогда, в начале? - с детской простотой спросил он.

- Еще бы нет! - сказал Лопатин, вспомнив, как на третий день войны начинал ее в тех местах, до которых не доехал Вячеслав, и как много раз за эти первые дни ему было до судорог страшно, и как он не мог побороть страх и, может, так и не поборол бы, окажись один, а не вместе с другими, тоже боявшимися смерти, но делавшими свое дело людьми. И как он всетаки постепенно, именно постепенно, научился подавлять в себе это чувство страха, все дольше находясь среди людей, продолжавших делать свое дело. Так это было с ним и на Западном фронте, под Могилевом и Ельней, так было и после этого, в Крыму и в Одессе...

Лопатин повторил вслух то, о чем подумал, и рассказал, как в последнюю ночь, когда уже шли из Одессы в Севастополь на эсминце, генерал Ефимов вдруг посреди этой бессонной ночи

стал на память читать старые стихи Вячеслава про басмачей.

- Мы несколько раз с ним встречались здесь, в Средней Азии, - сказал Вячеслав Викторович. - Он здесь и бригадой командовал, и начальником училища был. Говорили даже, хотя он сам этого не подтверждал, отшучивался, что, когда в Афганистане свергли Аманулу-хана, ходил туда на помощь во главе какого-то сводного мусульманского полка. Смеялись, что главная трудность была во время намазов; бойцы его со всех сторон прикрывали, чтобы никто не увидел, что он не мусульманин. В остальном-то внешность у него была подходящая для Востока. Он и голову тогда брил.

- И сейчас бреет, - сказал Лопатин, вспомнив Ефимова, его бритую голову, кирпичное скуластое лицо и спускавшиеся ниже уголков рта азиатские усы.

- Да, интересно, какой он теперь...

- Наверно, сумею передать ему от тебя привет, - сказал Лопатин. Отсюда поеду через Каспий на Кавказский фронт. Он там армией командует. Надеюсь быть у него.

Вячеслав Викторович молча смотрел на Лопатина. Может быть, в первом порыве хотел сказать: возьми и меня с собой туда, к Ефимову! Кажется, хотел. Но не сказал и долго, тяжело молчал. Потом спросил погасшим голосом:

- Ну, а в самом Ташкенте-то у тебя что? Губер, сколько его ни спрашивал, так ничего и не сказал; на пять суток - и все! Я терялся в догадках. Уж не Ксению ли отбивать приехал?

Лопатин объяснил, зачем он приехал в Ташкент.

Они заговорили о киностудии: где она, как туда проехать, какие там снимаются картины и что за человек режиссер, с которым предстоит иметь дело Лопатину.

Разговор, который, казалось, никогда не кончится, вдруг сам собой кончился.

- Пора все-таки спать, - сказал Вячеслав Викторович. - Сейчас уложу тебя. - И снова повторил: - На мамину кровать, - так, словно ему некуда было деться ни от памяти, ни от этих детских слов.

5

Наверное, Вячеслав Викторович ничего не трогал в комнате матери после ее смерти. Как все было, когда она жила, так все и осталось.

Но она, пока жила, жила не собой, а сыном, и эта комната после ее смерти больше напоминала о сыне, чем о ней. О его, а не о ее жизни на земле.

Лопатин лежал на этой маминой кровати, узкой, старой, с никелированными шарами, может быть купленной здесь, но

точно такой же, на какой она спала в Москве. Бывая сначала в одной их московской квартире, потом в другой, ему случалось заходить к ней в комнату. Она любила разговаривать с ним.

Квартиры были разные, а над кроватью висели те же самые фотографии Вячеслава. И здесь, над этой кроватью, они висели на тех же местах.

Лопатин лежал на этой кровати под старым, посекшимся ватным одеялом, заправленным в чистый пододеяльник. И пододеяльник был чистый, и простыня, и наволочка на подушке. Вячеслав всегда был заботлив к друзьям, таким и остался. Бог знает, на чем спит сам, в той комнате, на своей продавленной тахте, а здесь все чистое. Даже неудобно было ложиться, не помывшись с дороги, в такую чистую постель.

Он сказал об этом, когда Вячеслав провожал его спать, но тот махнул рукой:

- Авось ничего не набрался в дороге. А греть воду все равно не на чем. Завтра в баню сходишь. Губер тебя устроит в комендантской; у них там хорошо, чисто.

Нет, Вячеслав тоже не спал; сначала Лопатину показалось, спит, но потом услышал, как он тихо, наверно в ночных туфлях, шатается там, за стеной, взад и вперед по своей холодной комнате.

Лопатин вспомнил, как Вячеслав в тридцать восьмом году несколько месяцев ходил осунувшись, напряженный, притихший, ходил так, словно заранее прислушивался к тому, что с ним может случиться.

А случиться могло! Был арестован один из его старых знакомых, военный с громким именем. До того как это стряслось, Вячеслав с детским тщеславием любил к месту и не к месту называть его имя, преувеличивая свою близость к нему, и все это могло плохо кончиться. Но эта беда, как тогда казалось, почти неотвратимая, прошла мимо него. А совсем другая и неожиданная через три года обрушилась там, где он меньше всего думал ее встретить, - на войне. И даже не на войне, а но дороге на войну.

Лопатину показалось, что он нашел слово, точнее других выражавшее все, что произошло с Вячеславом. Именно беда! И тем горшая, что через такую беду человек может переступить только сам, остатками собственной воли. Через такую беду его на чужих плечах не перетащишь.

Но мучиться с тем, как решить эту задачку, можно долго, и ответов в конце задачника не один, а два. Или примириться, что не способен к тому, чего ждал от себя, и успокоиться, жить, как люди живут. Как дурные люди живут, имеется в виду! Или

разбежаться и прыгнуть через неведомое, хуже через ведомое, через то, перед чем уже один раз остановился. Перепрыгнуть он боится, но и примириться не может. Когда так - еще не все потеряно.

Лопатин лежал, смотрел на фотографии, висевшие над кроватью, и думал, что, наверно, и на эти фотографии Вячеславу бывает тяжело смотреть. На одной из них он, четырнадцатилетний гимназист, с отцом и матерью. Мать сидит на гнутом венском стуле, в косынке милосердной сестры. А отец, снятый во время приезда с австрийского фронта, перед своей гибелью в пятнадцатом году, стоит во весь рост в офицерских сапогах с твердыми голенищами, в форме штабс-капитана, с "Георгием" и "Владимиром" с мечами и бантом. Такой же высокий, как Вячеслав, и похожий на него.

Фотография готовила к другому, к войне, а не к Ташкенту, и воспитание, казалось бы, тоже. Даже в двадцатые годы Вячеслав не просил мать, чтобы убрала эту всегда висевшую у нее на самом виду фотографию. И, вспоминая свое неблагополучное, как он в то время выражался, дворянское происхождение, даже тогда говорил об отце с оттенком гордости. А потом, после тридцать седьмого года, когда в школах стали учить историю уже не по Покровскому, а по Шестакову, очень любил вспоминать, что происходит из старой служилой дворянской семьи, и про этот "Георгий", и про "Владимира" с мечами и бантом у отца, погибшего под Перемышлем.

И про то, что мать работала милосердной сестрой в земском санитарном поезде...

Старуха была независимая и строгая. Дорожила тем, что могла бы и сама себя содержать, и еще накануне войны заведовала отделом в исторической библиотеке. За словом в карман не лезла, могла сказать в глаза человеку: "Не нравитесь вы мне". И сына могла одернуть при людях, если его слишком заносило в рассказах: "Слава, не ври, пожалуйста!"

При этом безгранично его любила, как может рано овдовевшая женщина любить единственного сына.

И в свою очередь много для него значила.

Пожалуй, даже в своей путаной семейной жизни он оказался неподатливей, чем можно было от него ожидать, потому что мать оставалась рядом и было на кого опереться.

"Как она сама-то пережила все, что с ним случилось? Не укоротило ли это ее дни? - подумал Лопатин, прислушиваясь к шагам в соседней комнате. - Все еще ходит... Плохо, когда человек одинок!" Зная Вячеслава, понимал, что какая-нибудь женщина, наверно, иногда ночует у него или он у нее, но это дела

не меняет, все равно одинок! Знал это по себе. Ксения последние годы тоже, в сущности, была не женой, а женщиной, то приходившей по ночам к нему, то позволявшей ему приходить к ней.

Всякая чужая жизнь в конце-то концов открывается через свою собственную, даже непохожую, и он подумал о собственной молодости.

Не было в ней, в этой молодости, ни отца, которым можно молча или вслух гордиться, ни семейных традиций. Была только ранняя забота о хлебе насущном и беготня по урокам, начиная с пятого класса реального училища. Была вдовая мать, слабая здоровьем, добрая и беспомощная, две младшие сестры и старшая, уехавшая вслед за ссыльным женихом в Сибирь...

Была нелюбимая должность счетовода в Московском коммерческом банке и в первую мировую войну освобождение от военной службы - и по близорукости, и как единственного сына, кормильца семьи.

А потом, после революции, все та же служба, в том же, только по-другому называвшемся, месте, полтора голодных пайковых года в Москве и по настоянию матери, из-за нее и младших, тогда еще незамужних сестер, переезд к родственникам в Саратов, где, считалось, будет сытнее.

Революция и гражданская война прошли как-то мимо него, среди забот о близких и куске хлеба для них. Только в двадцатом году, когда кончалась гражданская война и он после двух с маху написанных и, к его удивлению, напечатанных стихов попал работать в губернскую газету, ему, двадцатичетырехлетнему ровеснику многих тогдашних начдивов и комбригов, в новой обстановке, среди новых людей показалась скудной и почти напрасной вся прожитая им до этого жизнь.

Вспоминая молодость, он с горечью шутил над собой, что поздновато признал Советскую власть. В шутке была доля правды.

Молодость вспоминалась как какое-то ни то ни се.

И в Москве в двадцать третьем году, когда вернулся, похоронив мать, тоже поначалу было ни то ни се. Хотя он к тому времени уж научился писать на газетную полосу, но бессмысленно продолжал лезть в поэты. И добился выпустил свою первую и последнюю книжку незавидных стихов. Именно к той поре и относилось начало его знакомства с Вячеславом, от доброй души хвалившим его и подкармливавшим.

А после стихов напечатал вымученный подражательный роман, и злился, что его ругают, и топтался в редакциях, перебиваясь случайными заработками, и пропивал их не в лучшей компании.

И только к тридцати годам, когда, все еще не найдя себя, уже начинал чувствовать себя потерянным, само время заново ткнуло его носом в газетную полосу.

Смеясь, говорил потом о себе: я дитя первой пятилетки! А на деле так оно и было! С первых поездок по стройкам и началось то настоящее, что потом стало смыслом жизни. Попал в колею, из которой уже не вытащили никакие соблазны. Из дурного беллетриста стал газетчиком, из мало кому нужного человека - нужным, и все чаще до зарезу, до того, что - из поездки в поездку, из одного конца страны в другой. И даже удивился, когда летом тридцать четвертого года, вернувшись с зимовки, вдруг узнал, что за три книги очерков принят в Союз писателей. Главным в жизни были поездки, а книги сложились из них как-то сами собою...

Все это было давным-давно, целых восемь лет назад. На съезде писателей выступал бежавший из Германии Фридрих Вольф и говорил о германском фашизме. Осенью в Сталинграде Лопатин вспоминал это выступление со странным чувством. Тогда, в тридцать четвертом, фашисты, про которых говорил Вольф, были гдето далеко, там, у себя в Берлине, а мы - у себя в Москве. А в Сталинграде все стало впритык! В двух соседних разбитых бомбами домах: в одном - мы, в другом - они!

А Вячеслав все ходил там, за стеной. Тогда, в тридцать четвертом, на съезде, он тоже выступал и тоже, как и немец Вольф, говорил об угрозе войны...

6

Когда Лопатин встал, проспав до одиннадцатого часа, Вячеслав Викторович уже сидел одетый и допивал чай.

- Только хотел тебя разбудить, объяснить, где я ключ оставляю. Ухожу на радио. Пей чай без меня, а ключ вот. - Он показал на лежавший на клеенке ключ. - Когда Губер за тобой приедет, запри снаружи и сунь за наличник над дверью. Ко мне тут местная старушка три раза в неделю ходит, Анна Августовна, по-моему, из бывших баронесс, хотя почему-то не призналась мне, скрывает. Наводит после меня порядок и варит из чего придется клейстер-зуппе на два дня. Полкастрюли оставляет мне, завернув в халат, как вчера кашу, чтоб зря керосин не тратил, а полкастрюли в бидончик - и домой. Суп, он же и зарплата, в которой ныне господствуют натуральные формы. Белье тебе с дороги постирает, если имеешь свое мыло. У меня кончилось, предстоит идти и доставать... Не могу привыкнуть, что мамы нет. Первый месяц тыкался без нее по дому, как маленький, не знал, где что. И спросить некого.

Говоря это, он отвернулся, надел пальто и, не оглядываясь, вышел.

Подполковник Губер появился в одиннадцать, минута в минуту, и, когда Лопатин спросил про комендантскую баню, сказал, что предусмотрено, прямо туда и поедут. Сам по расписанию должен был мыться позавчера, но воздержался, чтоб сходить вместе.

- После бани можем заехать сразу и на продпункт получить по вашему продаттестату.

- Еще не могу, рано, - сказал Лопатин. - Набрал в Москве вперед до тридцатого включительно. Теперь только под самый Новый год могу взять. А вместо продпункта забросьте меня на киностудию, у меня там дела.

- Я знаю. В телеграмме редактора было о цели вашего приезда.

- А чего ж вы Вячеславу Викторовичу не сказали?

- Не имел таких указаний. - Губер чуть заметно улыбнулся - не то над собой, не то над редактором.

- И вчера сюда к нему отказались зайти. Что у вас с ним, плохие отношения, что ли? - спросил Лопатин.

- Откуда! Просто неловко было перед ним. Организовал летом, к годовщине войны, его стихи для газеты, послал, - не напечатали без объяснения причин. Понял так, что поздно пришли.

Заказал еще одни. Я, конечно, не знаток в этом, но, по-моему, вышли неплохо, все правильно. А в ответ получил телеграмму:

больше не проявляйте инициативы, занимайтесь прямыми обязанностями. Он пришел ко мне позавчера с новыми стихами, а я мнусь... И правду сказать неловко. И врать не умею. Как после этого идти к нему в дом?

В комендантской бане, когда, помывшись, отдыхали в предбаннике, Губер пожаловался на редактора, что тот оставил без последствий его просьбы вернуться к фронтовой работе: "Работайте там, куда посланы". Вот и весь ответ!

Зная редактора, Лопатин подумал, что само желание Губера после тяжелого ранения вернуться обратно на фронт записано ему как плюс, но, наверно, интересы газеты стали поперек. Тем, как Губер работает здесь, редактор доволен, а если забрать его, надо искать другого. Но где найдешь другого, хорошего, который захочет вместо пего с фронта в Ташкент? А плохого не надо.

- Боюсь, как бы вам не пришлось дожидаться, пока ранят кого-нибудь и направят сюда на излечение, - сказал Лопатин.

- Сам уже думал об этом. Но как-то неудобно дожидаться такого случая. Вы, вернувшись в Москву, все же напомните ему еще раз.

- Будет сделано! - сказал Лопатин. Хотя в результате

сомневался. Дружба дружбой, а в этом случае редактор может поставить на свое место, и даже с удовольствием. Не суйся не в свои дела! Вот если бы Губер никуда ие просился, сидел бы тут тихо, наверно бы, заело: как так, сидит второй год в тылу и молчит, не просится на фронт? Но говорить сейчас обо всем этом, расстраивать Губера не хотелось.

- Сын недавно из школы пришел, - сказал Губер, - и потребовал от меня, чтоб фамилию сменил. Ему кто-то в школе сказал, что отца из-за пемецкой фамилии обратно на фронт не пускают.

Спрашиваю: кто сказал? Молчит! Глупо, но не радует.

- А что, у вас в роду кто-нибудь из обрусевших немцев? - спросил Лопатин. - Я одного Губера, москвича, комиссара полка, в ополченской дивизии под Старой Руссой встречал. Там он потом и погиб. Не родственник?

- Если москвич, навряд ли! Вообще-то я привык себя хохлом считать. Мать - из селян Херсонской бывшей губернии, отец - механик на Николаевском заводе. Я Петр Федорович, он Федор Федорович. А откуда такая фамилия, черт ее знает! Не привык задаваться этим вопросом. В прежние времена о таких вещах не думали. Ни я, ни вы. А сыну приходится думать. Стал даже, по детской глупости, выяснять у меня родословную, по я дальше деда Федора сам ничего пе знаю. Боюсь, как бы ие проходить до конца войны с медалью "20 лет РККА", - сказал Губер, натягивая через голову гимнастерку. - В гражданскую - пуля, в эту - осколок, а на груди - только за выслугу лет. Пока терпимо, но если так и до конца войны, как потом детям объяснишь, почему?

Губер довез Лопатина до старой мечети, где была теперь киностудия, помог выписать в проходной пропуск и уехал, забрав литер, чтобы заранее взять место на ашхабадский поезд.

Губер не сказал Вячеславу, зачем приезжает Лопатин, а на студию, оказывается, позвонил еще вчера, и здесь ждали и сразу провели к режиссеру в просмотровый зал.

Лопатин пожал в темноте руку какому-то человеку, который сказал какой-то тоже невидимой женщине: "Соня, предупреди, чтобы остановили, как только ролик кончится!"

Дверь открылась и закрылась, кто-то вышел. Режиссер придержал Лопатина за локоть, чтобы в темноте не промахнулся мимо стула.

На экране шла хроника. Непривычная, странно-беззвучная.

Несколько солдат, поднявшись с земли, бежали по экрану в атаку.

Сняты были в спину, на экране помещалось всего несколько человек, и столбы разрывов вдали были настоящие. Все было

снято по правде, в бою, а не так, как иногда снимают уже после боя, когда дымы во весь экран не от снарядов, а от дымовых шашек, а люди сняты не в спину, а в лицо, как будто оператор в момент атаки может лежать впереди наступающей цепи!

Через экран пробежало еще несколько солдат. Вдали, на горизонте, появилось еще два бесшумных дыма, от разрывов.

- Вот так далеко друг от друга и бегут в атаку? - спросил в темноте режиссер.

- Не часто приходилось это видеть, но, в общем, так! - сказал Лопатин. - Эти кадры настоящие, сняты в бою.

- И мне показалось, что настоящие. Уже несколько дней сижу, смотрю разную хронику, готовлюсь к съемкам картины. Заспорили тут с военным консультантом... - Режиссер не досказал, о чем заспорили. Ролик кончился, и в просмотровой зажегся свет.

- Будем знакомы. Зовут меня Ильей Григорьевичем, как Оренбурга, - не примазываюсь к его славе, а просто чтобы вам легче было запомнить. Режиссер во второй раз протянул Лопатину руку, теперь уже при свете.

Он был очень широкий в плечах, крупный и, наверное, до войны грузный, а сейчас похудевший, как и многие другие недоедавшие люди, с копной черных, начинающих седеть волос и с такой густой щетиной на лице, как будто собирался отпускать бороду.

- Такой собачий холод стоит в Ташкенте - городе хлебном, что даже бриться неохота, как на зимовке... - сказал он, погладив щетину.

- А вы бывали на зимовке? - быстро спросил Лопатин с журналистской дотошностью, из-за которой иногда без нужды ставил людей в неловкое положение.

- Был один раз, когда снимал...

Режиссер назвал картину, которая шла перед войной и как раз понравилась Лопатину своей достоверностью. Он еще подумал тогда, что снимавшие ее люди наверняка сами зимовали. "А теперь вот готов снимать про войну по такому липовому сценарию?

Сам, что ли, этого не понимает?" - сердито подумал Лопатин о режиссере.

- Знаю, что приехали с нами ругаться, - сказал режиссер. - Как, прямо сейчас начнем или сначала посмотрим пробы актеров, и тогда уж все разом?

Лопатин не совсем ясно представлял себе, что такое "пробы актеров", но согласился.

- Соня, пойди заряди пробы, - распорядился режиссер, не

оборачиваясь и продолжая смотреть на Лопатина. - Вон вы какой! Я, когда читал ваши корреспонденции, думал, вы моложе меня. Я с девятьсот второго...

- Я старше, - сказал Лопатин. И опять быстро спросил о том, что зацепило его любопытство: - Из-за чего у вас разногласия с военным консультантом и кто он?

- Разногласия по двум вопросам. Во-первых, у меня метраж новеллы по вашему очерку определен в три части, а он хочет, чтобы я делал четыре. Требует, чтоб в картине все каждый раз повторяли полученное приказание. Наверное, так и есть в жизни, но картина из-за этого выйдет на целую часть длиннее. А я не хочу. Да и не могу. Во-вторых, требует, чтобы пошили новое обмундирование. У нас только старое, застиранное, бывшее в употреблении. И шить не из чего, да и не убежден, что это нужно.

А он хочет, чтобы все были с иголочки и хороши собой...

- А кто у вас консультант?

- Помощник коменданта города.

- На фронте не был?

- Говорят, что уже два его рапорта завернули. Хотел быть, но пока не был.

- Тогда понятно. Лучше взяли бы консультантом нашего здешнего корреспондента, подполковника Губера. И умный, и кадровый, и, главное, на фронте побывал.

- Так кто ж его знал! Кого выделили, того и взяли. Выбирать-то особенно не из кого: военных тут чем дальше, тем меньше! Я сам когда-то, как ни трудно в это поверить, глядя на меня сейчас, год служил в кавалерии. Был на польском фронте, в тех же местах, что и Бабель, только не подозревал тогда о его присутствии. Но то было другое время и другая война, и на собственный кавалерийские воспоминания, да еще мальчишеские, давние, опираться рискованно.

- Пусть давние, а все-таки это существенно, - сказал Лопатин.

- Существенно-то существенно, - задумчиво сказал режиссер. - Но опасно мысленно подставлять одну войну под другую.

Ту - под эту... За такую ошибку можно и в искусстве дорого заплатить!

- Илья Григорьевич, пробы заряжены, можно смотреть! - крикнула в дверь все та же Соня, так быстро метавшаяся взад и вперед, что Лопатин не разглядел ее.

- Ну что ж, с богом, крутите, - сказал режиссер. И они с Лопатиным стали смотреть то, что он называл пробами.

На экране несколько раз подряд возникал все один и тот же кусочек диалога из очерка Лопатина: связистка говорила комбату, что ее муж воскрес из мертвых, и давала читать письмо. Она в тот день всем давала читать это письмо, и Лопатину - тоже. Счастье ее выглядело таким несбыточным, что ей казалось: люди не могут поверить в него, пока не прочтут своими глазами письмо от ее воскресшего мужа.

Лопатин с болью за эту женщину снова вспомнил сейчас, как все это было. Актрисы были непохожи на нее, но все равно напоминали о ней, о том, как не на экране, а на самом деле она рассказывала все это комбату и совала ему письмо от мужа.

Один и тот же кусочек повторился три раза. Комбата все время играл один актер, а связистку - три разных актрисы, по-разному говорившие одни и те же слова.

- Вот такие у нас кинопробы, - сказал режиссер, когда зажегся свет. И спросил Лопатина, какая из актрис ему кажется более подходящей. - Комбат у нас один. Хотим или не хотим другого - все равно будет он! Мужиков мало, выбирать не из кого. А с женщинами - давайте решать, какую.

Лопатин сказал, что первая из трех актрис ему не понравилась: говорит слишком громко, красиво, ненатурально. Не так, как люди в жизни. А между двумя остальными он затрудняется выбрать.

- А я как раз боялся, что вам Чекрыгина понравится, - сказал режиссер. - Вдруг вы любитель монументальных форм на экране: чтоб голос - так уж голос, чтоб вид - так вид! И сойдетесь во вкусах с нашим консультантом, ему-то как раз она понравилась. Вот это, говорит, действительно женщина с большой буквы!

Девка-то в жизни хорошая, но очень уж ее тянет показать на экране свою стать. А тут еще перестаралась от волнения, даже заявила мне, если не возьму на роль, бросит кино и уйдет на фронт. Ну что ж, пусть идет, коли не треплется. Молодая, незамужняя и бездетная...

- Зачем же вы так с маху: "Пусть идет!" - Лопатина задела не понравившаяся ему простота, с какой это было сказано. - Вопрос-то деликатный.

- Почему деликатный?

- А потому что все вопросы, от которых зависит жизнь человека, деликатные вопросы. И если война делает их слишком простыми, что в этом хорошего?

- Правы, - сказал режиссер. - Но и я прав. И не рубил сплеча, как вы решили, а не раз думал над этим. Наше искусство жестокое! Когда человек бесталанный и при этом порядочный, ох как трудно ему, бедному, веря, что способен что-то совершить,

ходить без дела. Мужчин-актеров снято с брони и ушло на фронт - счету нет! Ну, а если женщина сама взяла и решила пойти, в чем моя деликатность должна заключаться? Отговаривать? Или снимать ее в фильме, хотя она и не годится, только чтобы на фронт не пошла? Не уверен в вашей правоте. Если решила, пусть идет. А если сболтнула, корить ее за это не приходится, но и говорить не о чем. Скажите лучше, какая из остальных двух актрис, по-вашему, ближе к истине?

Лопатин, поколебавшись, сказал, что, наверно, обе могут играть.

Одна из двух ему понравилась больше другой, но, вспомнив слова режиссера о "жестоком искусстве", он решил не брать греха на душу случайным выбором.

- Раз так, думаю, утвердим на роль Матвееву, ту, что видели последней. Они с Богдановым лучше будут сочетаться в кадре по контрасту.

Лопатин не очень понимал, что это такое - сочетаться в кадре, и молчал. Потом спросил:

- По-моему, у вас там все до одного с противогазами?

- Да. Консультант нам напоминал, что так положено. И тут он, кажется, прав.

- Что положено, прав, - сказал Лопатин. - Да ведь не носят, совсем бросили их носить на второй год войны. И насчет касок...

Каски, конечно, не противогазы, без них солдат не обходится, вещь нужная. Но и каски не каждую минуту на голове. Тем более во время многодневных боев. Да еще когда люди сидят в землянках, в блиндажах, вообще в укрытиях.

- Вот мы и перешли к делу, - сказал режиссер. - Крушите, не стесняйтесь. А я буду на карандаш брать. Только давайте перейдем отсюда в монтажную; товарищи, я вижу, в дверь заглядывают, ждут очереди смотреть материал. Был бы я один, давно б меня вытурили, но из уважения к вам, как фронтовику, пока сдерживают свой праведный гнев.

Они перешли в монтажную, маленькую комнату, по стенам заставленную жестяными коробками с пленкой. Лопатин потянулся за папиросами. Там, в просмотровом зале, не пришло в голову закурить, было неудобно, а здесь потянуло.

- А вот с этим придется потерпеть, - остановил его режиссер. - Там-то как раз можно, а здесь нельзя: пленка. Зато теплей.

Топят скверно, как всюду, но кубатура малая - к концу работы надышим. Давайте свирепствуйте.

Лопатин вынул из полевой сумки сложенный пополам сценарий, разогнул его и начал "свирепствовать". В таких делах он и до войны не отличался человеколюбием. Гордился в

собственных очерковых книжках точным обращением с фактами и презирал литературное вранье - первый признак приблизительного знания предмета.

А в сценарии, написанном по его очерку, вранья было хоть отбавляй. Особенно его разозлило, что сценарист, прежде чем дать погибнуть героине, зачем-то заставил ее попасть в плен, давать высокопарные ответы на длинном и глупом допросе, а потом каким-то чудом бежать, бросив в немцев гранату, которую они, дураки, конечно, не догадались у нее отобрать.

- Вы прямо как бульдог, - одобрительно сказал режиссер. - А нельзя ли все-таки не так, по-глупому, но оставить этот допрос?

Написать его по-другому и другими словами?

- Нельзя.

- Почему нельзя?

- Потому что не знаю этого. В плену не был, на допросах не отвечал. А о том, чего не знаю, не пишу. Как пленных немцев допрашивают, видел, а как они допрашивают, не знаю.

- Хорошо, давайте напишем, как пленного немца допрашивают, раз вы это знаете, - примирительно сказал режисер. - Чего-то такого тут не хватает. Хотелось бы все-таки своими глазами увидеть на экране врага, пускай пленного...

- Ладно, потом подумаем, - отмахнулся Лопатин и, не смягчаясь, продолжал терзать сценарий, пока не дошли до последней страницы.

- Ну вот и надышали! - рассмеялся режиссер. - Мне, по крайней мере, жарко. Сценарист нам с вами, к сожалению, попался неудачный, один из тех, про которых говорят: способный, очень способный, способный на все! Печет сценарии, как блины, стремясь доказать свою необходимость, чтобы не разбронировали. Этот испек в Москве, а сейчас печет уже следующий в Алма-Ате. Жалею, что получил из Москвы готовый.

Если б я сам писал, наверно, меньше бы наворотил. А теперь слушайте меня! Не стану называть себя мастером, но дело свое знаю.

И если вы воображаете, что можно просто так, без всяких изменений перепереть на экран ваш очерк, - заблуждаетесь! Многоз из того, что невозможно снять, придется убрать, а вместо этого придумать и добавить то, что можно снять.

Лопатин хотел перебить, сказать, что не собирается ничего придумывать, но режиссер остановил его:

- И давайте больше не ругаться; начнем править. Прямо с первой страницы. Не годится? Зачеркнули! Давайте думать, как сделать такое, чтоб годилось. Вот у вас в начале очерка написано, как перед рассветом, еще в темноте, тащат из-под откоса воду с

Волги. Волги у меня здесь нет, волжский откос взять негде. Развалины трех домов, мимо которых у вас тащат воду, построить не могу. И времени нет, и рабочих-декораторов на всю студию осталось шесть человек. Остальные на фронте. У вас написано: "еще в темноте". Темноту снимать не могу, зрители на экране ничего не увидят. Вот и давайте вместе думать, как сделать, чтобы было не там и не так, как у вас, по-другому, а настроение и смысл оставить те же!

Они думали вместе несколько часов подряд, но переделали только первые страницы.

- У меня всего пять дней, считая сегодняшний, - сказал Лопатин.

- Ничего, дальше пойдет быстрей, - сказал режиссер. - Если понадобится, прихватим и ночи. На сегодня хватит, обалдели, пойдем ко мне домой, пообедаем. Наркомовских ста граммов нам в тылу не положено, но сковородку картошки жена обещала на хлопковом масле. Кстати, ничем не хуже подсолнечного.

- Спасибо, согласен, - сказал Лопатин.

Ему нравился и этот не склонный давать себя в обиду человек, и перспектива поесть у него дома жареной картошки. Правда, лучше бы с водкой. Как ни дышали, а он здорово промерз в этом каменном мешке.

7

Они шли пешком по неузнаваемому, занесенному снегом Ташкенту, по узким, кривым переулкам Старого города, в безлюдье и темноте, мимо бесконечных одинаковых глиняных дувалов.

Режиссер, наверно, хотел отвлечься от мыслей о работе и стал вспоминать Москву двадцатых годов. Оказывается, он приехал туда на три года раньше Лопатина, осенью двадцатого, после ранения на польском фронте.

- И сейчас, конечно, подголадываем, - сказал режиссер, - но тогда голодали намного круче. Да и жрать в восемнадцать лет больше хотелось, чем теперь, в сорок. Но все равно - куда только меня ни носило на пустой желудок! Днем учился на курсах политпросвета, а вечерами осваивал культуру. Пролетарскую и непролетарскую. Коллонтай видел на диспуте о свободе любви. Маяковского много раз, Есенина тоже. А Блока - только раз, когда он весной двадцать первого приехал в Москву. Мог бы два! У него подряд два чтения стихов было, но на второе я не пошел, прошлялся со знакомой барышней, считал, что это могу и не успеть, а Блока еще увижу. Л он взял да помер!

- Как он читал? - спросил Лопатин про Блока.

- Независимо! Как будто ему ни до кого нет дела. Стоит и сам

себе вслух читает. Но особенного впечатления тогда на меня не произвел. Я все ждал, что он "Двенадцать" прочтет, а он как раз их и не прочел.

- А я, когда в двадцать третьем приехал в Москву, увлекался Есениным, сказал Лопатин, - и гордился, что лично знаком, хотя таких знакомых, как я, у него были тысячи. Как-то под Одессой комиссар полка, где я был, ночью наизусть читал мне его стихи. И я подумал о нем, что, будь он жив, наверно, в эти дни, для нее роковые, писал бы стихи о своей России и ездил бы на фронт - пускали или не пускали, все равно бы ездил! Да и лет к сорок первому году ему было бы не так уж много - всего сорок шесть! А вот Блока почему-то не могу представить себе в наше время. Хотя он и дальше других заглядывал в будущее, но в этом его прозрении было что-то предсмертное: словно сам уже знал, что все его мысли не о том, что будет при нем, а о том, что будет после, без него...

- Не знаю. Над этим не думал, - сказал режиссер. - Но когда недавно, уже здесь, брал читать у одного эвакуированного ленинградца записные книжки Блока, поразила бессмыслица: как так, первый поэт России сидит целый год войны где-то под Пинском, в болотах, в какой-то военно-строительной команде табельщиком. Тянет эту дурацкую лямку на войне, про которую говорим, что она чуждая интересам народа. Кому это было нужно?

Ему навряд ли! России тоже.

- Чуждая-то чуждая, - сказал Лопатин, - а три миллиона народу на ней в землю легло. Как с этим быть? Может, он при всем отвращении к войне чувствовал потребность разделить общую судьбу? Не просился, но и не откручивался, хотя, наверно, при старании мог. А в итоге, по теории наименьшего зла, таоелыцик в Пинских болотах! По этой теории с людьми почти всегда происходят нелепости...

Лопатин прошел еще несколько шагов, искоса поглядывая на своего спутника, и, остановившись, спросил:

- Что с вами?

Он еще в начале пути заметил, что, хотя режиссер старается идти быстро, ему это трудно; сильно нагнувшись вперед, закинув руки за широкую, словно надломленную в пояснице спину, он разговаривал на ходу с тем чуть заметным напряжением, с которым люди говорят, когда превозмогают боль.

- Какие-то соли в позвоночнике, никому не нужные, мне во всяком случае. Профессор, который взялся меня перед войной лечить, был прямо-таки в восторге от этих солей, даже в клинике студентам показывал, как редкий экземпляр. А теперь он главным

хирургом на Ленинградском фронте, его клиника в Томске, а я здесь. Состою в переписке. Рекомендует ходить, так что вы не сбавляйте шагу. Ходить мне больно, но полезно.

Лопатин прибавил шагу. Когда много знаешь, иногда от этого только хуже! Писал в свое время о медиках, якшался с ними и догадывался, что болезнь, над которой шутит его спутник, ничего хорошего не обещает.

- Простите за настырность, - сказал он, - но, может быть, вам с вашей болезнью все же поехать в эту томскую клинику?

- Имел уже в письме такой совет. Совет хороший, но профессия наша в этом смысле поганая. Чтобы мне работать, одного меня недостаточно, нужна в придачу студия, хотя бы в мечети.

И лампы-пятисотки, и съемочная аппаратура, и монтажные столы, и операторы, и осветители. А студню эвакуировали не в Томск, а сюда. И правильно сделали, потому что здесь вдвое больше солнечных дней в году, а для кино это не последнее дело! А вы что Думаете, война еще надолго, да? вдруг спросил он, и Лопатин понял, что этот человек сам хорошо знает, какая у него болезнь. - Пятнадцатый месяц здесь, вместе со студией. Без работы жизнь была бы жалкая, а с работой терпимая. Есть, конечно, среди нас и плакальщики: считают, что раз от фронта далеко, то им остается только молиться за победу. А мне молиться некогда - работы много... Вот мы и пришли!

Они остановились у низкой деревянной калитки в глиняном Дувале.

- Живем в узбекской семье, - нагибаясь и первым проходя во двор, сказал режиссер. - Старик вахтер с пашей же студии пустил жить, в комнату сына. Невестку с детьми взял к себе - целый детский сад, а нас пустил.

Они пересекли дворик и вошли в маленькую, чистенькую комнатку с низким потолком и маленьким окошком.

В комнате было двое. На тахте лежал с книжкой в руках мальчик, а в углу, над керосинкой, стояла женщина.

- Ну как, Женька, твоя картошка? - спросил режиссер.

Лопатин подумал, что он обращается к мальчику, но оказалось, к жене. Женщина повернулась от керосинки.

- Сейчас будет готова, - и протянула Лопатину теплую руку. Раздевайтесь, у нас здесь можно. Здесь не студия.

В студии так и просидели весь день: Лопатин, не снимая полушубка, а режиссер - надетого поверх ватника пальто.

Режиссер повесил полушубок и пальто на вбитые в дверь гвозди и, посмотрев на Лопатина, сказал сыну, отложившему при их появлении книжку:

- Смотри-ка, Ромка, такой же орден, как у дяди Левы! Иди, знакомься.

Мальчик подошел к Лопатину и, глядя не на него, а на орден Красного Знамени, сунул ему руку.

- Только теперь чувствую, как намерзлись у вас там, - сказал Лопатин.

- Да, у нас там ледник, - режиссер расстегнул ватник. Под ватником у него был байковый лыжный костюм. - Спасаемся, кто как может, - показал он на свои летные меховые унты, завязанные выше колен сыромятными ремешками. - Остаток былой роскоши после съемок в Заполярье. Садитесь на тахту.

Лопатин сел на тахту рядом с мальчиком и оглядел комнату.

Кроме тахты в комнате стоял стол с задвинутыми под него двумя стульями и накрытый клеенкой комод, служивший кухонным столом. Керосинка стояла на нем.

Ниша в стене, куда узбеки обычно кладут ватные одеяла, была прикрыта ситцевой занавеской - наверно, служила гардеробом.

Между тахтой и стенкой был засунут тюфячок, - должно быть, на нем спал мальчик. На подоконнике лежала стопка книг. Вот и все, что было в комнате.

Была еще керосиновая лампа-"молния" на столе, и керосинка на комоде, и самая настоящая, времен гражданской войны, похожая на футляр от швейной машинки, железная печка-"буржуйка", в углу комнаты, с трубою, выведенной в стену. "Буржуйка" горела, и на ней грелся чайник.

- Тоже продукция нашей студии, - сказал режиссер, заметив, что Лопатин смотрит на "буржуйку". - Отснял ее в прошлой ленте и по этому случаю получил от дирекции в личное пользование. А вместе с ней - мешок угля. Премия в нашем быту почти Нобелевская!

Режиссер присел к столу и, наслаждаясь теплом, расстегнул последний крючок ватника.

Лопатин продолжал оглядывать комнату, удивляясь тому, какая она чистенькая. Потолок низкий, керосинка, "буржуйка", лампа-"молния", от которой стоит круг на потолке и тянется кверху ниточка копоти, а комната все равно белая.

- Удивляюсь тому, какая у вас комната беленькая, - сказал он вслух.

- Мы с Ромкой тут ни при чем, - сказал режиссер. - Жили бы вдвоем без матери, была бы черненькая. Это она у нас - Наталкаполтавка! - все время то белит, то подмазывает, как у себя на хуторе!

- Ладно болтать! Лучше редьку на стол поставь, - сказала

женщина.

Погасив керосинку, она подошла к столу, поставила сковородку с жареной картошкой и быстрым движением, закинув за голову руки, заткнула шпилькой выбившиеся сзади из пучка волосы.

Ее ловко скроенная, маленькая, сильная, спортивная фигурка дышала такой женской прелестью, что это делало привлекательным и ее лицо, сначала показавшееся Лопатину неприметным и даже некрасивым.

Она поправила волосы, села за стол напротив Лопатина и подперла щеку кулаком, как дети на уроке.

- Вот теперь разгляжу вас, а то было некогда!

Режиссер поставил на стол глубокую тарелку с крупно нарезанной зеленой маргеланской редькой и, садясь, спросил:

- Ели когда-нибудь этот овощ?

- Ел, - сказал Лопатин. - Я здесь до войны бывал... Но с тем большим удовольствием...

Он подцепил на вилку большой кусок, густо посолил и с наслаждением почувствовал знакомый свежий солоноватый вкус этой хрустевшей на зубах маргеланской редьки. Десять лет назад он ел ее здесь впервые, после весеннего плова с молодым урюком.

Была весна, но день был жаркий; сидели над арыком, отыскав такое место, где продувало, - "нашли ветерок", как говорят узбеки.

И рядом сидел и хрупал этой редькой Вячеслав, тогда счастливый, а теперь несчастный.

- Вообще-то, она у меня беспризорница, - сказал режиссер про свою маленькую жену, после того, как дружно съели всю редьку и всю картошку и Лопатин, не кривя душой, похвалил хозяйку. - Вынул ее из котла и женился. Помните, асфальтовые котлы, в которых они тогда в Москве, в начале нэпа, любили греться.

Вот в таком котле и нашел ее грязную, как чумичка, когда делал политпросветскую короткометражку о беспризорниках. Потом помыли, как в "Путевке в жизнь", и кое-как уговорили на детдом.

А через восемь лет встретил эту барышню на Москве-реке - искал типаж для несостоявшейся картины из жизни спорта, - а она при стечении публики прыгала с вышки в воду и, представьте себе, вылезла и узнала меня. И тут же в три дня, не долго думая, женила на себе. Женька, не толкайся, ргак беспризорница. Ну, дурю, нельзя, что ли?

- Дури, пожалуйста! Так давно не дурил, что даже рада. Совершенно нечаянно тебя толкнула, - сказала маленькая женщина и чуть-чуть улыбнулась уголками рта.

- Сначала подумал, что сниматься хочет, для этого и замуж за

меня пошла. Нет, смотрю: год живем - не просит снимать ее, два года живем - не просит, нарушает все традиции нашего советского кино. Даже перед своими товарищами режиссерами стало неудобно...

- Никогда не мечтала о кино, - сказала женщина, которую он называл Женькой. - На велосипеде гоняла, пловчихой была.

Одно время даже о цирке, об акробатике думала. А в кино снялась только раз - и то со спины. Вместо его актрисы с обрыва в холодную воду прыгала!

- А где вы сейчас работаете? - спросил Лопатин. Что-то в этой женщине не позволяло думать, что она может сейчас не работать.

- В Наркомпросе. Я физкультурный техникум кончила, до войны преподавала физкультуру в школе, с перерывом на год. - Она кивнула на сына. - А здесь совсем другим занимаюсь. Тут, на вокзале, есть эвакопункт для детей - мы их там обрабатываем, распределяем и в детские дома передаем или в семьи. Я вас, между прочим, видела. Вы с этим длинным поэтом московским и еще с каким-то военным шли через вокзал вчера ночью. Обратила внимание на ваш белый полушубок, - улыбнулась она.

И кивнула на мужа. - Очень хочу для него такой достать.

- Неужели и сейчас еще так много детей, что вы там и днем и ночью дежурите? - спросил Лопатин.

- Все еще много, - сказала она. - Там на фронте наступают, а дети все еще сюда едут. Им уже направление дано - они и едут!

В первое время за Ромку боялась, - снова кивнула она на сына, - как бы чего не затащить... Такая пропахшая всеми дезинфекциями домой к ним приходила, что они от меня шарахались! А вообще, мне эта работа по душе. Может, оттого, что сама когда-то беспризорницей была... Он ведь не шутит, - улыбнулась она мужу, - все это правда, что из котла. А что я полтавчанка - шутит! - сказала она после коротенькой паузы и с каким-то другим, новым выражением лица. - У него почему-то как мазанки, так Полтава! Я изпод Белгорода, папа и мама умерли от тифа, младшего брата соседи на время взяли, а я поехала на поезде к тетке, а тетки нет, умерла! Поехала обратно и сама заболела тифом... Слава богу, сейчас сразу гасим каждую вспышку. А то при такой огромной эвакуации даже страшно представить...

- Ну-ну, чего ты? - брось расстраиваться, - сказал режиссер, так опасливо и нежно погладив жену по плечам, что Лопатин подумал: наверно, ей солоно приходится там, на работе. - Расскажите-ка лучше вы нашему Ромке, за что орден получили.

Все равно заставит у вас спросить.

Лопатин покосился на сидевшего рядом мальчика. Пока

говорила мать, он не слушал. Доев картошку, сидел за столом и читал учебник. Как видно, в этой маленькой комнатке, где жили так тесно друг к другу, каждый привык заниматься своим делом, не мешая другим.

Лопатин задумался: как покороче ответить? Тогда, прошлой зимой, чего только не было в реляции редактора - представляя по совокупности, вспомнил чуть ли не все поездки на фронт...

- Наградили за то, что на подводной лодке плавал, - сказал Лопатин.

- Долго? - спросил мальчик.

- Двадцать дней.

- И много потопили?

- Ничего не потопили, - сказал Лопатин. - Мы не для этого ходили, а мины ставили в неприятельских водах. В два порта зашли под водой, мины там поставили и вернулись.

- И так ничего и не потопили? - снова спросил мальчик.

- Так ничего и не потопили.

- Наш Ромка счет только на боевые награды ведет - прямой и ясный, сказал режиссер. - Я по этому счету, раз сижу в Ташкенте, человек безнадежный. Мой старший брат, дядя Боря, хотя военная профессия у него, по мнению Ромки, плевая - художник в маскировочной роте, все же имеет медаль "За боевые заслуги".

А младший брат матери, дядя Лева - человек в нашей семье самый выдающийся, недавно прислал письмо, что орден Красного Знамени заработал, - как у вас! Танкист! Начал войну водителем, а теперь командир взвода. До войны был такой оторва, что дальше некуда. В башке ничего, кроме мечты иметь свою машину, Бросил вуз, законтрактовался на Север, к черту на кулички, за длинные рубли, привез их, меня выдоил, в долги залез, на двух работах вкалывал - механиком в гараже и на частной службе, через день возил академика, верней, его жену, и все-таки перед самой войной купил себе "форда". Старый, конечно. Отремонтировал, неделю покрасовался за рулем и пошел на войну. А теперь, с Ромкиной точки зрения, образец для подражания. Да так оно и есть на нынешний день!

- У дяди Левы еще медаль "За отвагу" есть, - сказал мальчик, недовольный, что отец, не вспомнив об этой медали, как бы поставил дядю Леву на одну доску с Лопатиным.

- Пока бог милует наше семейство! - сказал режиссер. - У старшего брата должность не самая рискованная, а Левка - танкист!

- А вы у танкистов бывали? - спросил мальчик.

- Мало, - сказал Лопатин.

У танкистов он действительно бывал мало, но, как горят

танки, видел, и видел близко.

- Роман, доставай свой тюфяк. Твое время кончилось!

Мальчик нехотя встал с тахты.

- А я пойду, - сказал Лопатин.

- Наоборот, предлагаю заночевать, а утром прямо от нас - на студию, сказал режиссер.

Лопатин посмотрел на него с недоумением, Четвертому человеку здесь было явно не на что лечь, разве что на стол.

- Женька скоро на свое дежурство уйдет. А мы ляжем с вами на тахте, валетом, - объяснил режиссер.

Лопатину захотелось остаться здесь, в этой обжитой теплой комнатке, но он вспомнил о другом, неблагополучном доме, в котором ночевал вчера и в который нельзя было не вернуться.

- Нет, я пойду, - сказал Лопатин. - Я обещал Вячеславу Викторовичу, он будет тревожиться.

- Тогда одевайтесь, - сказала жена режиссера. - Пойдем вместе на трамвай. Мне до вокзала, а вам на четыре остановки раньше.

Она надела поверх лыжного костюма толстую вязаную фуфайку, поверх фуфайки - солдатский ватник и, заправляя волосы под ушанку, улыбнулась:

- Никак не лезут! Придется стричься, - и, быстро поцеловав уже улегшегося на раскладушку сына, вышла вместе с Лопатиным. - Я возьму вас под руку, ладно?

А когда прошли вдоль дувалов молча шагов сто, вдруг крепко прихватила пальцами руку Лопатина и спросила:

- Вы правда мало бывали у танкистов?

- Правда. Сначала их самих было мало. Потом как-то все не выходило. А потом Сталинград - там держались не танками. Почему вы спросили?

- Психую из-за брата... Позавчера у нас из карантина брали малыша. Вдруг, чудом, нашлись отец и мать. Отец танкист; после госпиталя один глаз цел, а другой, и все остальное, и лицо, и шея такие, что нет сил смотреть. Он к ребенку, а ребенок в ужасе от него! Ромка радуется - орден, орден! Илья ему вторит. А у меня в глазах это лицо! Хочется сказать им: да помолчите вы, не говорите о нем, не сглазьте! А сказать нельзя!

- Да, сказать нельзя. - Лопатин снова вспомнил, как горят танки, и несколько секунд стоял и молчал.

- Пойдемте! Ну, что вы стали? О чем вы думаете? У вас-то у самого ничего плохого не случилось? - снова беря его под локоть, спросила женщина. Спросила так, словно могла помочь. - У вас-то кто на фронте?

- Кроме меня, никого. Если вы о родственниках. А друзья -

почти все.

Они молча прошли еще сотню шагов.

- Евгения Петровна!

- Да? Что? - не сразу ответила женщина.

- Вот вы второй год на этом эвакопункте. Скажите, много детей по дороге сюда, до Ташкента, не выдерживают...

- Умирают, да?

- Да.

- Некоторые умирают. А другие - как без вести пропавшие.

Про тех, кого больными снимают по дороге, на станциях, иногда подолгу не знаем, живы или умерли...

- А те, что сюда приезжают, в каком виде?

- Кто приезжает, почти всех ставим на ноги. Знаете, кого больше всех жаль, каких детей? Тех, кого уже во второй раз с места сорвали, а иногда и в третий. Сначала из-подо Львова - под Ростов. Оттуда на Кавказ, потом сюда! Наверное, надо было бы сразу сюда, но ведь кто же все знал заранее? Эти дети какие-то совсем себя потерявшие, в их голове все спуталось. У таких организм хуже борется с болезнями...

Они вышли к трамваю. Лопатину казалось, что в такой поздний час трамваи в Ташкенте пустые, как это бывало до войны.

Но они шли, наоборот, битком набитые: люди ехали в ночную смену на военные заводы. Первый трамвай пришлось пропустить:

негде было даже висеть. На второй все-таки сели и стали проталкиваться вперед. Но их растащило, и Лопатин уже не видел за головами и спинами маленькую, потерявшуюся среди них женщину, только слышал ее громкий заботливый голос, объяснявший, где ему надо слезать и куда идти.

Оборвав в давке два крючка полушубка, он выбрался из вагона на остановку позже, чем надо, и пошел обратно вдоль трамвайных путей.

Вячеслав Викторович был не один. Напротив него, лицом к двери, сидела Ксения.

- А я тебя уже два часа жду! Мешаю Вячеславу Викторовичу работать, едва Лопатин вошел, сказала она и пошла ему навстречу, знакомым жестом полураскрыв руки.

Он поцеловал ее, кажется впервые в жизни равнодушно, и сел за стол рядом с нею.

Вячеслав Викторович встал и вышел в соседнюю комнату.

- Как ты себя чувствуешь? Ты что-то похудел и скверно выглядишь, сказала Ксения таким тоном, словно ему ничего не оставалось делать без нее, как только худеть или скверно выглядеть.

Должно быть, на лице Лопатина промелькнуло раздражение, и Ксения заторопилась объяснить, зачем она пришла.

- Мне нужно было встретить тебя именно сегодня, потому что ты должен завтра у нас пообедать. Ты должен познакомиться с Евгением Алексеевичем и увидеть, как мы здесь живем.

Ему непонятно было, почему он должен идти к ним обедать, и знакомиться с ее Евгением Алексеевичем, и смотреть, как они живут.

- Я не могу завтра у тебя обедать, - сказал он.

- Почему?

- Буду занят на киностудии до самого вечера.

- Тогда поужинаешь. Мы недалеко. Все равно ты придешь сюда ночевать; зайдешь перед этим к нам и поужинаешь.

Лопатин молчал. С самого начала было глупо говорить ей, что он не сможет обедать, потому что занят. А теперь неизвестно, что говорить.

- Хорошо, я приду прямо с киностудии, в половине десятого - в десять.

Он вынул из кармана гимнастерки карандаш и записную книжку, открыл на чистом листе и положил перед Ксенией.

- Напиши адрес.

Ксения написала адрес и, отдав книжку, сидела и молчала.

Наверно, ждала, что он будет отказываться, и приготовилась объяснять ему, как она хорошо все придумала и почему он не смеет этого портить. А теперь не знала, что говорить. Ничего другого не было приготовлено.

Он тоже безжалостно молчал. Пусть сама говорит, если хочет.

- У нас одна комната, но гораздо теплее, чем здесь, у него, - наконец сказала Ксения.

Он ничего не ответил, встал и снял с гвоздя свой полушубок, чтоб накинуть ей на плечи.

- Не надо, мне пора идти. - Она поднялась.

Вячеслав Викторович вышел из комнаты матери и, оценив обстановку, взял с тахты шубу Ксении и подал ей.

Лопатин стал надевать полушубок. Взглянув на него и поняв, что ему не хочется провожать свою бывшую жену, Вячеслав пришел на выручку.

- Не одевайся, я сам провожу Ксению. Если через проходной двор, то это совсем рядом, я знаю, а ты на обратном пути запутаешься!

Он надел пальто и старую, вытертую шапку с длинными ушами, которую Лопатин когда-то привез ему из Заполярья, и, пропустив вперед Ксению, вышел.

На этот раз обошлось без объятий. Обидевшись, что Лопатин

так легко согласился не провожать ее, Ксения только протянула ему на прощание руку.

"Интересно, пригласила она его на завтра? - оставшись один в комнате, подумал Лопатин о Вячеславе. - Если пригласила - будет проще. А может, и не пригласила. До войны было бы странно - вот так прийти, меня пригласить, а его - нет. А сейчас, здесь, в эвакуации, наверное, ничего странного лишний рот!

Вячеслав Викторович вернулся быстро, не прошло и десяти минут.

- Жаловалась мне на тебя, - сказал он, стаскивая пальто и шапку.

- Так и знал.

- И на что жаловалась, знаешь?

- Тоже знаю. Жаловалась, что сам же оттолкнул ее от себя, а теперь, когда она, несмотря на все, стремится сохранить хорошие отношения, не выражаю достаточных восторгов.

- Почти так. Ты умный!

- Вряд ли. Просто знаю ее как свои пять пальцев, но для этого большого ума не требуется.

- Невезучий ты, - сказал Вячеслав Викторович.

- Наоборот, везучий, - сказал Лопатин. - Лучше поздно, чем никогда.

8

На следующий день Лопатин закончил работу на студии раньше, чем думал. В начале девятого, проработав десять часов подряд, режиссер сказал:

- До закладки дошли! - и вынул из сценария крышку от папиросной коробки, про которую утром сказал: пока не дойдем до нее, не встанем. Перевыполнять не будем, а то завтра недовыполним.

Так Лопатин оказался у Ксении в девять часов - раньше, чем думал.

Ксения открыла после нескольких звонков. Она была в надетом поверх платья халате.

- Проходи в нашу комнату, - сказала она и распахнула первую из трех выходивших в прихожую дверей. - Я сейчас...

Она вышла, а он стал не спеша раздеваться, с наслаждением чувствуя, что в этой квартире топят.

По стенам длинной прихожей, всюду - и над вешалкой, и над дверьми, и в простенках - висели акварели. При слабенькой лампочке было не разобрать, какие это акварели - хорошие или плохие, но все здешние, южные, с барханами, с саксаулом, с весенней, покрытой маками степью, с цветущим урюком.

Он разделся и вошел в большую комнату, с буфетом,

высокими стульями и большим столом, на котором стояло сейчас пять приборов. Но вся эта мебель была сдвинута в сторону, не так, как она, наверное, стояла раньше, когда здесь была столовая. А к освободившейся стене приткнулись двуспальная кровать и платяной шкаф.

На стенах комнаты, так же как и в прихожей, висели акварели.

Там не разобрать какие, а тут хорошие. Старая Средняя Азия!

Арбы, верблюды, караваны, всадники, лошади. Под двумя акварелями, висевшими пониже, на одной из которых был изображен пригнувшийся к луке седла казак с нагайкой, а на другой - табун лошадей, Лопатин разобрал подпись: "Каразин", - и вспомнил, как в молодости читал полные занятных подробностей книжки этого превосходного акварелиста, участника туркестанских походов.

Кто-то живший раньше в этой квартире любил Среднюю Азию, собирал эти картинки Каразина, да так и оставил их здесь.

- Кто здесь жил раньше? - спросил Лопатин, когда вошла Ксения, уже без халата, в знакомом нарядном платье, которое с большой суетой шилось к последнему перед войной Новому году и было готово, конечно, в последнюю минуту.

- Вот так ты всегда, - сказала Ксения. - Неужели нечего больше спросить?

- Придет в голову, спрошу о другом, а пока это самое интересное.

- А разве тебе не сказал Вячеслав, где мы живем?

- Не спрашивал у него. Только сейчас заинтересовался, глядя на картинки.

- Нам очень повезло, - сказала Ксения. - Это дом военного ведомства; здесь жил генерал - начальник училища, вдовый, со своим взрослым сыном, тоже военным. Он получил какое-то назначение и уехал перед самой войной, а сын - как только началась война. И все их вещи остались здесь. Они отдали ключи от квартиры в КЭЧ. Это...

- Не объясняй, я знаю, что такое КЭЧ.

- И так все это и стояло. А потом, когда сюда эвакуировался из Москвы театр и некуда было селить актеров, местные власти, не знаю уж позвонили или телеграфировали генералу на фронт, как быть с его квартирой, и он дал в ответ телеграмму, буквально такую - у нас в театре все ее знают наизусть: "Артистов уважаю.

Считал бы для себя позором селить их в голых стенах. Чем богат, тем и рад! Милости прошу в мою хату. Иван Ефимов". Говорят, он всегда так подписывается - имя и фамилию полностью.

- Я знаю этого человека, - сказал Лопатин.

- Ну вот...

Кажется, Ксения хотела сказать то, что привыкла говорить в подобных случаях: "Вот так и всегда, знаешь, а не рассказываешь!" - но остановилась. Помешала вовремя пришедшая в голову мысль, что они теперь не муж и жена.

И Лопатин тоже не сказал того, что сказал бы раньше, что, наверно, скоро увидит человека, в квартире которого живет Ксения.

- После его телеграммы все оставили, как было, и заселили.

Дали по одной комнате нашему народному СССР - его сейчас нет, он в Алма-Ате на съемках, нашему худруку и директору. Сначала прежнему, а теперь, когда на его место пришел Евгений Алексеевич, нам! Ну зачем ты спросил - смотри, сколько мы времени потеряли! А я так рада, что ты раньше пришел. Вчера не захотел со мной говорить, а теперь все равно придется.

- Кто еще будет? - кивнув на стоявшие на столе пять приборов, спросил Лопатин.

- Еще наш худрук и одна моя знакомая. Она сама напросилась. В восторге от твоих сталинградских очерков и хотела тебя увидеть. Евгений Алексеевич с худруком могут немножко задержаться - здешнее правительство еще не было на нашем новом спектакле, а сегодня позвонили, что придут. Они очень любят наш театр, но такие все занятые!

- Я рано явился, у тебя, наверно, не все готово, - сказал Лопатин, хорошо знавший, что у нее никогда и ничего не бывает вовремя готово. - Иди на кухню, доканчивай, а я посижу.

- Ничего, там Ника на кухне доделает. - Ксения, очевидно, имела в виду свою знакомую. - Я ей сказала, что хочу с тобой поговорить, она понимает такие вещи.

- Ладно, давай говорить. О чем будем говорить? О дочери?

Ксения огорченно посмотрела на него. Хотела начать не с этого, а приходилось с этого.

- Я получила от нее письмо, очень хорошее. Показать?

- Покажи.

Она пошла к кровати и вынула из-под подушки письмо. Это была ее привычка - совать под подушку письма и потом перечитывать их по ночам. Один раз, лет пять назад, он, вернувшись раньше ее и ложась спать, наткнулся на одно такое письмо. Попались на глаза первые строчки, и сунул обратно, не стал дальше читать. Спит теперь на другой кровати, с другим человеком, а привычка прежняя - письма под подушкой!

Письмо от дочери и правда было хорошее - сдержанно-доброе, такое, какие пишут сильные слабым. Вначале писала, что

получила от отца телеграмму, что он вернулся из Сталинграда, а дальше коротко о себе - что у нее все хорошо, пусть мать не беспокоится.

Лопатин дочитал письмо и отдал.

- Я считаю, что мы ничего не должны с тобой решать до конца войны, сказала Ксения. - Я посоветовалась с Евгением Алексеевичем, и он тоже так считает.

Лопатин удержался от вспыхнувшего в нем несправедливого раздражения. Ну да, посоветовалась, а с кем же еще ей теперь советоваться, если он ее муж? Вот она с ним и советуется.

- А что нам с тобой решать? - сказал Лопатин. - Если до конца войны со мной что-нибудь случится, решать придется уже не нам с тобой, а вам с ней: ей скоро шестнадцать.

- С тобой ничего не случится, нечего об этом и думать!

- А раз нечего и думать - значит, она останется со мной.

А все остальное: как быть с нашей квартирой, где и кому жить, - все это действительно решим после войны.

- Мне не нужно от тебя никакой квартиры, - порывисто сказала Ксения. У Евгения Алексеевича есть в Москве квартира.

Лопатин знал, что порыв ее искренний. Житейская расчетливость, а тем более алчность не были ей свойственны. Но порыв этот - сейчас. И Евгений Алексеевич - сейчас. А что будет с нею и с ее Евгением Алексеевичем, когда кончится война, никому на свете, в том числе ей самой, неизвестно.

И, не желая ловить ее на слове, Лопатин промолчал.

- Ну хорошо. Не будем говорить о том, что после войны, - сказала Ксения. - Но могу я весной пригласить сюда Нину, когда начнутся фрукты? Чтобы она тут пожила? Я говорила с Евгением Алексеевичем, он согласен. Ты увидишь и поймешь, какой он хороший человек.

- Вполне допускаю, что, он хороший человек. И что он согласен. Я не согласен.

- Почему? Я все обдумала.

- Все, кроме такой мелочи, что весной она еще будет учиться и ей нужно кончить девятый класс.

- А летом?

- И летом не надо этого делать. У тебя свой дом, своя жизнь.

Зачем путать девке голову, приглашать ее в свидетели? Я не хочу этого.

- А если я напишу ей сама?

- Пиши. Думаю, что она не согласится, - сказал Лопатин с уверенностью в том, что их дочь, похожая на него, а не на свою мать, поступит так, как поступил бы на ее месте он сам.

- А ты не подумал, что у тебя тоже могут произойти перемены

в жизни? спросила Ксения.

- Пока не предвижу. - Лопатин ответил, не вкладывая в эти слова никакого второго смысла, но Ксения поняла их по-своему.

- Я так не хочу, чтобы ты на меня сердился, - сказала она. - Нехорошо это говорить, но я, правда, очень счастлива.

- И отлично. И пойми наконец, что я вполне доволен своим нынешним положением. Попробуй себе это представить.

- Ты говоришь неправду, - на глазах у нее выступили слезы. - Говоришь, чтобы я не чувствовала себя виноватой.

Снова-здорово! Так он и знал - он ей уже не нужен, но ей все еще хочется, чтобы она была нужна ему!

- Послушай, Ксюша, - сказал он, и она вздрогнула и напряглась - так давно не слышала этого обращения. Он называл ее так не в минуты мужской нежности, а во время все более редких вспышек того просто-напросто человеческого доброго чувства к ней, которое она с годами истребила в нем почти без остатка. - Рассуди сама: ну зачем бы я пришел к вам в дом, если бы продолжал хотеть тебя как женщину? - "Хотеть" было не его слово, а ее, и он употребил это ее слово, чтобы она лучше поняла. - Для чего?

Чтобы понюхать в чужом доме - нельзя ли его разорить? Это было бы с моей стороны просто-напросто подло! Но предположим, что человек слаб, хотя я не думаю этого о себе. Но предположим, ты это думаешь! Зачем же приглашать сюда меня, который, по-твоему, все еще неравнодушен к тебе? Если так - это вряд ли красиво с твоей стороны!

Она протестующе воздела руки.

"Ну как ты мог обо мне так подумать?" - говорил этот жест, хорошо знакомый и превосходно отработанный, особенно в платье без рукавов.

- А раз не так, то больше и разговору об этом нет! - сказал Лопатин, так и не дав ей сопроводить жест словами. - Теперь, когда мы все с тобой выяснили, обещаю, что весь вечер буду хорошим.

Однако он слишком рано дал это шутливое обещание. Прежде чем стать хорошим, пришлось еще раз побыть плохим.

Ксения вдруг стала у него допытываться, как хоронили в Москве внезапно умершую Гелю и почему Лопатин, не жаловавший Гелю, оказался на ее похоронах. Ей написала об этом событии одна из тех московских баб-бабарих, которые бестолково топтались рядом с Лопатиным, пока он ругался с так и не дорывшими вовремя могилу пьяницами, ругался, вспоминая, как год назад проклинал ему этих могильщиков редактор армейской газеты, только не на этом, Даниловском, кладбище, а на другом -

Ваганьковском.

Одна из баб-бабарих, когда наконец дорыли могилу, опустили в нее гроб и Лопатин бросил на крышку в изголовье мерзлый комок земли, вдруг вскрикнула: "Ах, не надо туда, где лицо, ей больно!" И Лопатин сейчас со злостью подумал, что, наверно, эта самая дурища и описала потом Ксении похороны.

- Мне написали, что ты у нее даже в больнице был перед смертью. - На лице Ксении выразилось суетное любопытство, о причинах которого он догадывался.

Он никогда не любил крашеную и прокуренную женщину, которая паслась в их доме во время его отъездов, а порой портила и дни приездов, и смутно подозревал, что она бывала наперстницей Ксении в периоды ее увлечений. Он не испытывал благодарности за тот приступ откровенности, в котором Геля когда-то, в декабре сорок первого, вдруг выложила ему все, что думала о его жене. Но когда приехал после Сталинграда и застал в редакции принесенную какой-то санитаркой записку от этой женщины с просьбой зайти к ней в больницу, где она "понемножку помирает", - пошел. Считал, что люди не шутят такими вещами, что, наверно, так оно и есть. И не ошибся. Записка прождала его больше недели, и, когда он пришел в больницу, санитарка, та самая, что относила записку, шепотом у двери в палату сказала, что Ангелина Георгиевна не жилец на свете, у нее рак - через деньдва кончится.

Войдя в палату, он увидел ее, с отросшими на целый вершок от корней седыми волосами и неузнаваемо, как щепку, исхудавшую.

Может быть, десять дней назад, когда писала записку, она что-то хотела сказать ему. Зачем иначе было писать? Но теперь уже ничего сказать не могла. Поглядела на него не то виноватыми, не то удивленными умирающими глазами - уже не думала, что ен может прийти, - прошептала что-то бессвязное, чего он так и не понял, и снова впала в забытье. Наверное, ей делали обезболивающие уколы.

Он постоял и ушел. А через два дня та же самая санитарка, решившая, что, раз он приходил в больницу, значит, он близкий покойнице человек, разыскала его в редакции и сказала, что Ангелина Георгиевна преставилась нынче утром и надо ее забрать и похоронить.

Он узнал в редакции у сведущих людей, как это делается, сказал им, что умерла его родственница - иначе было неловко просить о помощи, - и ему помогли сделать все, что требовалось. Достать гроб, грузовик и вручить кому следовало соответствующую мзду.

А потом было кладбище и три пришедшие туда, кроме него, незнакомые ему московские интеллигентные старухи, которым он по глупости сказал, что был у покойной в больнице. И вот - результат! Этот никому не нужный разговор с Ксенией.

- Удивляюсь, как ты все-таки к ней поехал? Ты же так не любил ее!

- При чем тут любил, не любил? - сердито сказал Лопатин. - Написала, что умирает, вот и поехал.

- А почему она тебе написала? - не унималась Ксения. - Чего она хотела, что она тебе сказала?

- Не знаю, почему написала, - сказал он. - Был по твоей милости знаком с ней, вот и вспомнила. Умирала одна, как собака, поэтому и написала. Чего тут непонятного?

- Зачем ты так грубо о ней?

- Я не грубо. А ты не суетись. Человек умер, а ты суетишься. - Лопатин посмотрел своей бывшей жене прямо в глаза и зло добавил: - Ничего она мне про тебя перед смертью не сказала, напрасно суетишься.

- А что она могла тебе обо мне сказать? - с вызовом спросила Ксения.

- А раз нечего было сказать, чего ты суетишься? - повторил он все так же зло.

- И все-таки не знаю, зачем ты к ней поехал, - упрямо сказала она, все еще не в состоянии расстаться с продолжавшей тревожить ее мыслью. Наверно, я тебя никогда до конца не понимала.

- Что правда, то правда, - угрюмо сказал Лопатин.

После нелепого разговора о покойнице ему захотелось встать и уйти. И может, он и сделал бы это, если б не вдруг раздавшийся в дверях женский голос:

- Ксения! Требуется твоя помощь.

Он оглянулся и увидел в дверях молодое женское лицо, показавшееся ему знакомым.

Ксения сорвалась с места и побежала к двери.

- Сейчас, сейчас, извини, пожалуйста.

Она была рада и этому голосу, и возможности улизнуть из комнаты. Раньше, пока Лопатин был ее мужем, она, попав в тупик и не зная, что говорить дальше, начинала или плакать, или плохо себя чувствовать. Но теперь, в ее новом положении, и то и другое было бессмысленно.

Лопатин с усмешкой подумал об этом, когда за нею закрылась дверь. И в этой простой мысли была частица радовавшего его чувства освобождения от прошлого.

Через минуту в комнату вошла женщина, позвавшая Ксению. Вошла на высоких каблуках быстрой походкой. И Лопатин почемуто, неизвестно почему, сразу заметил эту ее особенную, быструю походку. У нее были чуть-чуть широкие для женщины плечи, задорно посаженная голова с короткой мужской стрижкой и скуластое, словно заранее чему-то смеющееся лицо.

Теперь, когда она не заглянула, а вошла, Лопатин узнал ее.

Это была та самая женщина, которая стояла и курила у окна в поезде.

- Здравствуйте, - она подошла к поднявшемуся ей навстречу Лопатину. Вы Василий Николаевич, а я Нина Николаевна.

Можно сокращенно - Ника. Ксения сказала, чтобы я посидела с вами или постояла, если вы не хотите сидеть.

Лопатин отметил про себя, что Ксению здесь звали Ксенией, а не Сюней. Ее новый муж сделал то, чего он так и не смог сделать, - заставил расстаться с этим кошачьим именем - Сюня.

- Я вас почему-то не сразу узнал, - сказал Лопатин, - хотя в поезде неприлично пялился на вас.

- Постриглась после приезда, наверно, поэтому. А я вас узнала раньше, чем вы пришли. По карточке, которая у Ксении. Хотя вы на ней в штатском и моложе, но все равно узнала того майора, с которым мы глазели друг на друга в вагоне.

- Я-то понятно. А вы-то чего?

- Были причины. А сегодня сама напросилась к Ксении, потому что захотела с вами познакомиться, и приволокла свой пай.

Теперь почти все так друг к другу ходят. Курицу - правда, очень худую.

Она смешно сморщила нос и улыбнулась.

- А с чего вам вдруг вздумалось со мной знакомиться? - спросил Лопатин тем бесцеремонно дерзким тоном, который иногда брал в разговорах с сознающими свою красоту и самоуверенными женщинами. Этот тон как бы предупреждал: да, знаю - не нравлюсь и вряд ли могу понравиться вам; но как раз поэтому остерегайтесь говорить при мне глупости или пошлости может достаться на орехи!

- Вздумала с вами познакомиться, потому что прочла ваши корреспонденции из Сталинграда. А потом Ксения, держа в руках вашу карточку, так долго объясняла мне, почему она вас бросила, хотя вы и храбрый, и умный, и вообще предел совершенства, что я так ничего и не поняла. А я люблю все понимать.

- А чего тут понимать? Надоел, вот и бросила. Что, не бывает, что ли?

Наверно, женщина, сказав "бросила", ждала, что он возразит.

Но он не возразил.

- "Брошена" - придуманное слово. Разве я цветок или письмо?" насмешливо, нараспев, процитировала она. - Кстати, Ахматова сейчас здесь, у нас в Ташкенте.

- Уже наслышан об этом, - сказал Лопатин. - И стихи эти читал, когда мне было столько, сколько вам.

- Вряд ли. Мне двадцать девять. Даже двадцать девять и три четверти, так что считайте, уже тридцать!

- Тогда, стало быть, на несколько лет раньше. Скажите-ка мне лучше, Ника, - Лопатин произнес ее имя с оттенком иронии, - нестрашно вам называться Никой? Не слишком ли это величественно именоваться богиней победы, особенно в военное время?

- Мне не страшно, - сказала она. - А если вам страшно, можете называть меня Ниной Николаевной.

- Хорошо, я подумаю над обоими вариантами, - без улыбки сказал Лопатин. - И простите мне мое невеселое любопытство:

почему вы сейчас одна, а в поезде были другая? Такая, словно с вами что-то стряслось. Я пялил на вас глаза не только потому, что трудно было не пялить, но еще и потому, что подумал: с этой женщиной у соседнего окна что-то случилось.

- Сейчас я другая, потому что, наверно, не умею быть одинаковой. А там, в вагоне, мне, правда, было тяжело, потому что...

- Не объясняйте, если не хотите.

- Наоборот, хочу объяснить, иначе бы не заговорила. Просто думаю, как сказать покороче. Я ездила к отцу, а он лежит в КзылОрде в госпитале для безнадежных. Вы знаете, есть такие госпиталя. Они, конечно, по-другому называются, но на самом деле...

Знаете?

- Знаю.

- В таком, откуда уже сами не могут выйти. Только иногда их берут, а иногда не берут. Он и с руками и с ногами, но у него после раны полный паралич, он уже никогда не встанет, а его жена хочет его взять. А он не хочет. И она написала мне, чтобы я приехала и помогла его уговорить.

- Уговорили? - спросил Лопатин.

- Нет, он не хочет, жалеет ее. Она еще молодая: ей и теперь всего тридцать пять. Он ушел к ней пятнадцать лет назад. И я все эти годы ненавидела ее из-за мамы. Но она хочет его взять. Она уже год там живет, снимает комнату и ходит к нему каждый день.

И теперь, когда врачи окончательно сказали, что уже ничего не изменится, решила его взять. А он не соглашается. И ничего

нельзя сделать, какой-то тупик. Мне стыдно, что я ее столько лет ненавидела, хотя раньше считала, что это правильно. А сейчас не уверена: смогла бы я так, как она? Может, и не смогла бы.

- А почему считаете, что не смогли бы? - спросил Лопатин.

- А я всегда боюсь думать о себе лучше, а потом оказаться хуже. А вы разве не боитесь?

- Нет. Но вас, кажется, понял.

- Ну и хорошо, если поняли. А я ехала в поезде и думала об отце: как девчонкой, в первые годы после того, как он ушел от нас, желала ему из-за мамы хоть какого-нибудь несчастья. Не такого, конечно. А у него, наоборот, после того, как он ушел от нас, до самой войны всегда все в жизни было хорошо. И когда я увидела вас, как вы стоите у окна с этими двумя вашими нашивками за ранения и с орденом, я подумала: почему так? Почему отец в первый же день, как только оказался с ополчением на фронте, был так страшно ранен? Один осколок - и все! И уже ничего, никогда не будет хорошо. А вот стоит у окна человек, куда-то едет, наверно, к семье, и уже два раза был ранен, и поправился, и выглядит здоровым, и новенький орден получил, и лицо довольное, и, наверно, все у него хорошо. Почему так? И почему у отца, у которого все всегда было хорошо, вдруг сразу, в один день, в одну секунду все стало так безнадежно? Вот видите, хотела сказать коротко, а сказала длинно и глупо, как будто смотрела на вас и желала вам зла. Я совсем не желала вам зла. Но все равно - вот именно так нелепо и думала,.как говорю вам. А потом оказалось, что это вы и ничего особенно хорошего вас не ждет. Просто у вас вид такой, словно с вас все как с гуся вода, - усмехнулась она. - Я забыла папиросы на кухне, у вас есть?

Лопатин дал ей закурить.

- Наверно, в вас есть что-то располагающее к женским исповедям.

- Не терплю исповедей, - сказал Лопатин, - тем более женских. И самого слова "исповедь" не люблю; в нем есть что-то заранее заготовленное. А вы просто, что подумали, то и сказали.

Какая же это исповедь? Тем более женская? Женские исповеди обычно предназначаются бабам в штанах. При всех своих недостатках к ним не принадлежу. Исповедуйтесь-ка лучше, давно ли начали дымить?

- Недавно, уже в войну. Заметно?

- Заметно.

- А вы?

- Я с пятого класса реального. Сначала или в уборной, или в рукав.

- А в войну не стали больше курить?

- Наоборот, меньше. Не всюду и не сразу достанешь курево.

- А все-таки, когда опасно, сильней хочется курить?

- Как-то не связываю одно с другим. Когда опасно, боюсь, а когда хочется курить, курю, если есть чего.

- Мне нравится, как вы со мной говорите.

- Очень рад.

- Скажите, Василий Николаевич...

Кажется, она хотела спросить что-то важное, но в это время позвонили в коридоре, и она вышла открыть дверь.

"Сейчас увижу ее мужа", - подумал Лопатин о Ксении, совершенно не представляя себе, каким будет этот человек. От Ксении можно было ожидать чего угодно, и муж мог быть каким угодно.

Вслед за вернувшейся в комнату женщиной, которую Лопатин мысленно продолжал называть Никой, вошла еще одна женщина, немолодая и непомерно высокая, и мужчина среднего роста, казавшийся рядом с ней маленьким.

У нового мужа Ксении, крепкого красивого блондина, было здоровое и спокойное лицо здорового и уверенного в себе человека.

Он выглядел ровесником Ксении. Так, наверное, и было.

Лопатин сделал шаг навстречу высокой женщине, но она, неуклюже махнув на него рукой и не поздоровавшись, громко сказала, почти крикнула:

- Сейчас я вернусь! - и исчезла за дверью.

А новый муж Ксении пошел навстречу Лопатину и протянул ему холодную крепкую руку.

- Здравствуйте, Василий Николаевич. Веденеев! Рад, что вы согласились прийти к нам.

Лопатин покосился на Нику. Она стояла, сморщив свой смешливый нос. Кажется, ее забавляло, что она присутствует при этой встрече.

"Ну что ж, присутствуй, раз не осталась там, в передней, как сделала бы на твоем месте другая женщина", - подумал о ней Лопатин и, протягивая новому мужу Ксении папиросы, сказал:

- Я тоже рад. И давайте для начала поставим все на свое место. Я не потерпевший, вы не ответчик, а все, что произошло, к общему благу. На том и будем стоять, сидеть и пить водку, если она у вас окажется.

- А теперь будем знакомиться с вами, Василий Николаевич, - снова входя в комнату, сказала высокая женщина таким громким голосом, после которого в комнате сразу наступила тишина. - Я напудрила свой нос и считаю, что достаточно хороша для первого знакомства.

- Здравствуйте, Зинаида Антоновна, - целуя ее большую, покрасневшую от мороза руку, сказал Лопатин. - Давно хотел и даже два раза надеялся с вами познакомиться, но не вышло.

- Только не врите, пожалуйста. Терпеть не могу, когда про меня врут, что я кусаюсь, брыкаюсь и вообще ведьма. Если бы хотели, познакомились бы. Я добрая и тщеславная ведьма и никогда не кусаю тех, кому действительно нравлюсь. - Она первая расхохоталась собственным словам громким мужским смехом и отказалась от предложенной Лопатиным папиросы. - Не курю, хотя, наверно бы, мне это пошло. Особенно трубка. - Она снова хохотнула и бесцеремонно, с ног до головы оглядела Лопатина. - После ваших корреспонденции с фронта считала, что вы геройский брюнет с усами. А вы нормальный интеллигент из дореволюционных студентов, похожий на моего мужа. Сколько вам лет?

- Сорок шесть.

- Столько же, сколько ему. И он тоже на фронте, начальником медсанбата. Врет мне в письмах, что это совершенно неопасно. Врет, да?

- Иногда врет, - сказал Лопатин.

- Это хорошо, что вы не соврали, - сказала она. - Старшим не надо врать, а я старше вас, мне пятьдесят три.

Она выглядела моложе, но что-то в ее пронзительно-умном лице с горбатым мужским носом и копной седых волос мешало сказать ей, что она выглядит моложе своих лет. Это было одно из тех лиц, которым придает обаяние старость, а не молодость.

- Я в первый раз видел вас на сцене давно, еще до революции, в "Макбете", - сказал Лопатин.

Она довольно хмыкнула:

- С галерки?

- С галерки.

- В этом слове есть какая-то театральная тайна, что-то неотразимо привлекательное для нас, артистов. Почему-то хочется, чтобы тебя до старости помнили именно те, кто в молодости толокся на галерке. Воспоминания об артисте, увиденном с галерки, чем-то похожи на любимую вещь, купленную когда-то на толкучке. Логика отсутствует, но похоже.

- Зинаида Антоновна теперь наш худрук, - сказал новый муж Ксении.

- Но они скоро выгонят меня обратно в актрисы, - снова хмыкнула она. Потому что я твержу им, что театр - это храм, и не позволяю ходить по сцене в валенках. Даже на черновых репетициях.

То, что она теперь худрук, пожалуй, было единственным, чего

не знал о ней Лопатин. Все остальное знал. И если бы не был занят мыслями о том, как выглядит новый муж Ксении, конечно, как она только заглянула в дверь, сразу узнал бы в ней ту одинаково ошеломлявшую остротой своей игры и в трагедиях и в фарсах актрису, которую многие в Москве считали то слишком резкой, то слишком эксцентричной, но которая на самом деле была простонапросто великой. И оставалась великой актрисой, даже когда проваливалась. А это с ней тоже бывало.

Вот и сейчас она пришла в этот чужой Лопатину дом, в эту чужую комнату, и в доме и в комнате все сразу стало каким-то другим. Что-то до этого забытое вдруг стало самым важным.

А что-то, казавшееся самым важным, оттеснилось в сторону. Она, как на сцене, в театре, вдруг растолкала в стороны всех других, приготовившихся играть в этой комнате свои, другие роли. И все, что, не будь здесь этой великой актрисы, наверно, бросалось бы в глаза Лопатину, стало незаметным и незначительным.

Теперь он только мельком заметил, как обменивались между собой понимающими взглядами Ксения и ее новый муж, и как Ксения с понятной, но все-таки чуть-чуть смешной торжественностью поставила посредине стола довольно большое блюдо с пловом, и как она заколебалась, кого рядом с кем посадить.

Ксения весь ужин радовалась тому, как они красиво, по ее мнению, расстались и красиво теперь встретились. Хотя одно было неизбежным, а другое вышло случайно. И они простонапросто не причинили друг другу лишнего зла. Только и всего.

Но и эти мысли о Ксении только минутами появлялись у Лопатина и сразу же исчезали, и даже инстинктивно тревожившее его молчаливое внимание рядом с ним сидевшей Ники было всетаки чем-то вторым, не самым главным за этим столом.

А главным была все равно вот эта сидевшая напротив него, давно знакомая ему по сцене немолодая и некрасивая женщина, с мужским орлиным носом, смотревшая ему прямо в глаза с таким откровенным и жадным интересом, словно она не смотрела, а ела ложкой все, что думал и говорил он, отвечая на ее вопросы.

Ксения сначала посадила актрису рядом с Лопатиным, но Зинаида Антоновна, задав ему два или три вопроса, поднялась и обменялась местами с посаженной напротив него Никой, сказав, что Нине Николаевне, наверное, все равно, а она не умеет говорить с людьми в профиль.

Она называла всех сидевших за столом - и Нику, и Ксению, и ее нового мужа - только по имени и отчеству. Лопатин вспомнил слышанный еще до войны в Москве рассказ, что она в театре

всегда зовет по имени и отчеству даже студийцев, мальчишек и девчонок, и он посреди разговора спросил, правда ли это.

- Разумеется! Я привыкла к напраслинам, но это как раз правда, сказала она. - А кто дал мне право, работая в одном с ними театре, обращаться к ним как-то по-другому, чем они обращаются ко мне, - возраст, должность, звание или относительно большая, чем у них, известность? Что? Неужели вам не стыдно перед другим человеком, когда вы по собственному произволу присваиваете себе право называть его как вам вздумается - на "ты"

или "вы", по имени или по имени-отчеству, а у него по отношению к вам этого права нет: вы заранее мысленно лишили его этого права! Не выношу "Петька", "Колька", "поди", "принеси", - и мне никто не Колька, и я никому не Зинка - ни в пятьдесят, ни в двадцать. Не люблю произвола! Терпеть не могу! - не сказала, а крикнула она в лицо Лопатину.

И внутренняя сила этого выкрика так далеко отстояла от всего, казалось бы, частного и не для всех обязательного, о чем она только что говорила, что Лопатин ощутил за этим давно и стойко выстраданную мысль, имевшую отношение не к именам и отчествам, а к жизни.

- Зинаида Антоновна, по-моему, вы даже напугали Василия Николаевича, услышал он насмешливый голос Ники.

- Он фронтовик, ему нельзя пугаться никого, даже меня! - хохотнула своим мужским смехом Зинаида Антоновна и удержала мужа Ксении, пытавшегося налить ей водки. - Я уже сказала вам раз и навсегда: не поите меня водкой. Лучше добавьте мне плова, я от него добрею!

Подложив ей плова, он все еще продолжал держать бутылку в руке.

- Ну, всего одну - за фронтовиков! И за вашего мужа, и за Василия Николаевича, и вообще за всех.

- Не буду, это бессмысленно! Им все равно не станет от этого легче.

Она перевернула свою рюмку вверх дном и снова уперлась глазами в Лопатина.

- Ответьте мне, но только правду: вы сами, своими руками, убивали немцев?

- Может быть, - сказал Лопатин. - Но не думаю.

- Как это понять - не думаете?

- Очень просто. В начале войны несколько раз вместе с другими стрелял в немцев из винтовки, а этой осенью один раз из пулемета, но не уверен, что именно я попадал в них.

- Теперь поняла. А вам хотелось, чтобы их убивал не кто-то

другой, а вы сами?

Лопатин пожал плечами и сказал, что он как-то не думал об этом в применении к себе. Думал обо всем, вместе взятом: что фашистов необходимо убивать, потому что иначе не победишь, и что хорошо, когда мы их убиваем, а сами остаемся в живых, и плохо, когда все получается наоборот. Об этом он, в сущности, и пишет всю войну. Конечно, не только об этом, но почти всегда и об этом, потому что это и есть война.

- Поняла, - сказала Зинаида Антоновна. - Но ответьте:

испытали бы вы удовлетворение или даже наслаждение, если бы точно знали, что не кто-то другой, а именно вы убили одного или нескольких фашистов?

- Удовлетворение, пожалуй... А слово "наслаждение" мне не нравится, мало подходит к войне.

- А как же быть со словами "есть упоение в бою..."?

- Не знаю, как быть с этими словами, впрочем, как и со многими другими, написанными на эту тему, - сказал Лопатин. - Я не перечитывал своих корреспонденции, но думаю, что слова "упоение" в них нет. Не приходило в голову...

Ему показалось, что она не просто спрашивает, а допытывается до чего-то очень важного для нее самой, и он, отвечая, испытывал, еще не до конца понятное ему самому, чувство ответственности за каждое сказанное слово.

- И еще вот что скажите мне. - Она продолжала внимательно смотреть прямо в глаза Лопатину. - Вот вы фронтовик...

- Для точности, я не совсем фронтовик, - перебил Лопатин. - Я человек, по долгу службы бывающий на войне...

- Ну, человек, бывающий на войне, ответьте мне: что значит для вас решимость умереть за родину? Какое чувство за этим стоит?

- Это не чувство, - сказал Лопатин. - Да и "решимость умереть" - не совсем те слова, и даже совсем не те... Как это так - решимость умереть? Решимость умереть - это из области самоубийства. На войне точнее говорить о решимости сделать все, что от тебя зависит, в условиях, когда это грозит смертью. Иногда - вероятной, и как крайность - почти неизбежной. Какое чувство стоит за этим? Наверное, все-таки желание жить, даже перед лицом неизбежности. Без этого до самого конца остающегося чувства нет и самопожертвования.

- Так, значит, чувство все-таки есть?

- Значит, все-таки есть, - согласился Лопатин. - Я говорю не о себе, а просто думаю сейчас вдвоем с вами.

Лопатин услышал, как облегченно вздохнула Ксения, - боялась, что он взорвется! Помнила по себе, как это с ним бывало,

когда она приставала к нему, и боялась, не понимая разницы между собой и этой женщиной, между ее и своими вопросами.

- У вас сделались злые глаза, - сказала Зинаида Антоновна. - Это потому, что я вас заставила думать о том, о чем вы не хотите или устали думать. Не злитесь на меня! Я мучаю не вас первого, потому что ставлю здесь, в Ташкенте, пьесу о войне, не имея о ней собственного представления. Я уже стара и хорошо знаю, как страдают и как умирают люди, и как они узнают о смерти других людей, и как боятся за их жизнь, но всего этого недостаточно, чтобы поставить пьесу о войне. Мне нужно знать о войне что-то еще, и я добиваюсь это знать! Мне нравится пьеса, мне кажется, что она честная, я уверена в чувствах автора, но не уверена в произносимых со сцены словах. Иногда в самих словах, а иногда в том, как их произносят на репетициях актеры.

- Вот на вас и проверили некоторые из этих слов, заставили вас поработать для нашего театра! - сказал новый муж Ксении. - Тут у нас открою секрет - молодая актриса, исполнительница главной роли, только что вернулась с фронта. Была три месяца во фронтовой бригаде и очень активно ведет себя на репетициях - все знает и всем объясняет. А Зинаида Антоновна со свойственной ей деликатностью...

- Мне не свойственна деликатность, - огрызнулась на мужа Ксении Зинаида Антоновна. - Вы прекрасно знаете, как я затыкаю рты и заслуженным и народным, если они на репетициях, как тетерева на току, начинают слушать только самих себя. Но я люблю потрясенных людей. А Лидия Андреевна вернулась с фронта потрясенная. И я прислушиваюсь к ее потрясенности, для меня это звук войны!

- Вы, как всегда, увлекаетесь, - сказал муж Ксении.

- А я предупреждала вас, что буду увлекаться, когда вы на свою голову уговаривали меня стать худруком. Я предупреждала вас, что я нелепая и никогда не буду лепой. И не собираюсь быть лепой. И вы еще раскаетесь, что связались со мной, как уже не раз раскаивались другие.

- Ничего, выдюжу, - спокойно сказал муж Ксении и как ни в чем не бывало повернулся к Лопатину: - Насчет наслаждения убивать немцев - это как раз наша вернувшаяся с фронта актриса. Она где-то там стреляла из орудия и сама видела, как снаряд попал на дороге в машину с немцами и поубивал их. Во всяком случае, так она рассказывает. Ну и, главное, конечно, - о своих чувствах по такому поводу.

Лопатин усмехнулся, хорошо зная, как все это происходит в таких случаях. Актрису вместе с ее товарищами после выступления, наверно, повезли куда-нибудь на спокойный

участок, на позиции тяжелой артиллерии, и там, в зависимости от калибра, километрах в трех или в пяти от передовой дали ей дернуть за шнур, произвести выстрел по заранее подготовленным данным. Снаряд разорвался на каком-нибудь обстреливаемом нашим беспокоящим огнем участке немецкой фронтовой дороги. И если повезло - во что-то попали, - наши артиллерийские наблюдатели донесли с передовой на огневую, где дергала за шнур актриса, об удачном попадании.

Он ничего не сказал вслух, всего-навсего усмехнулся. Но Зинаида Антоновна гневно вцепилась в его мимолетную усмешку и стала требовать, чтобы он сказал то, что подумал.

И он сказал то, что подумал. И хотя человеколюбиво удержал себя от иронии, даже ни разу не улыбнулся, она все равно почувствовала недосказанное и заорала на него:

- Не смейте смеяться, слышите! Не смейте смеяться над нею! Даже если она немножко приврала, все равно она вернулась потрясенная! И всем нам было важно это слышать. Не ее слова и даже не ее вранье, если оно было, а ее потрясенность!

В той страстной убежденности, с которой она выкрикивала все это, была и частица нелепости, и частица беззащитности. Она была беззащитна в этом споре с ним, но с такой страстью искала правду, что ему вдруг показалось, что она, не знающая о войне и десятой доли того, что знает он, способна в конце концов силой этой страсти и таланта доискаться чего-то такого, чего он сам, при всем своем знании войны, еще не доискался и не доищется. И ему уже не хотелось ни спорить с ней, ни доказывать, что дважды два - четыре, ни подшучивать над той приехавшей с фронта и привиравшей актрисой.

- Что вы на меня уставились? - спросила она, накричавшись. - Наверное, считаете, что я легковерная дура?

- Уставился на вас с такой же любовью, как когда-то с галерки, и даже с еще большей, - сказал Лопатин. - А легковерных людей я люблю. И уж если выбирать одно из двух - люблю их куда больше, чем тех, кто с таким трудом верит другим, что перестает верить себе.

Она беззащитно смахнула слезу в уголке глаза.

- У вас злой ум и доброе сердце!

Сказала так громко и решительно, на всю комнату, как будто подписала окончательный приговор Лопатину, сидевшему напротив нее и ждавшему этого. И Лопатин невольно улыбнулся - не над ней, сказавшей это, а над собой. Вовсе у него не злой ум; просто он любит точность, вот и все. Вот если бы против нее сидел не он, а Гурский - все было бы в точку: доброе сердце при озлобленном уме. И там, где она это вычитала, так и стоит - не

"злой", а "озлобленный".

- Не улыбайтесь, - сказала Зинаида Антоновна. - Это не я придумала, это у Пушкина, в "Путешествии в Арзрум".

- Я знаю.

- Вы вообще много знаете. Так делитесь! Тем более что вы уже не вернетесь сюда и я вас не увижу, - сказала она и, совершенно забыв о присутствующих, стала расспрашивать Лопатина о разных подробностях фронтовой жизни.

У нее был этот дар - забывать о присутствующих, он был не всегда удобной для других частью ее душевной силы.

Вопросы были разные - и удивлявшие Лопатина своей проницательностью, и удивлявшие своей наивностью. Но и в этой наивности тоже присутствовала сила души, не боящейся наивных вопросов, тот глубокий интерес к людям, при котором стремление знать - важней самолюбивой боязни показаться глупой.

Лопатин отвечал, как умел и мог. Он уважал людей, которые не боятся спрашивать.

- Мне сказали, что вы живете здесь у... - Она назвала фамилию Вячеслава Викторовича. - Как вы к нему относитесь?

- Я люблю его, - сказал Лопатин.

- Любили или любите?

- Люблю.

- А я разлюбила. Он меня обманул. Терпеть не могу чувствовать себя мужчиной, а при нем чувствую.

Лопатин подумал о муже Ксении; как относится к нему эта женщина? Ее собственный муж намного старше его - и на фронте, а этот молод, здоров - и здесь. Что оправдывает его в ее глазах? Наверно, та работа, которую он делает рядом с ней. Что же еще? Наверно, он хорошо работает в этом театре. И это защищает его от нее.

- Будь вам ваши сорок шесть на той германской войне, вы были бы ратником второго разряда или прапорщиком военного времени, - вдруг сказала она Лопатину.

- Возможно, - сказал он, подумав про себя, что на той войне до этого возраста могла и не дойти очередь. Все-таки та война при всей ее тяжести была другая война, чем эта, и даже к самому концу вычерпала на фронт меньше людей, чем эта уже сейчас, на полдороге. И к возрасту было другое отношение, чем сейчас. Сорок шесть лет не были тогда возрастом, в котором объясняют, почему ты не на войне. А сейчас этот вопрос существует в отношениях между людьми. Существует и за этим столом.

- Я подходил по возрасту, но у меня было освобождение от призыва, сказал он. - И в гражданской тоже не участвовал.

- Как раз собиралась вас об этом спросить.

- Не участвовал, - повторил Лопатин и впервые за последние полчаса повернулся к сидевшей рядом с ним Нике.

- Что? - спросила она, словно он не просто повернулся, а вслух сказал ей что-то, чего она не расслышала.

У нее было странное лицо, как будто она вернулась откуда-то издалека и не знает теперь, что ей здесь делать.

- Ничего, - ответил Лопатин. - Вспомнил, что сидел, как невежа, отвернувшись от вас, извините.

- Это я виновата, - сказала Зинаида Антоновна.

- Ничего вы не виноваты, - сказала Ника. - Наоборот, я благодарна вам, что вы заставили Василия Николаевича говорить о войне. А я не могла. Собиралась спрашивать его, а вместо этого рассказывала сама. И как всегда, о себе.

Говоря это, она продолжала смотреть на Лопатина все такими же странными, издалека вернувшимися глазами.

- Бойтесь этой молодой женщины, Василий Николаевич, - сказала Зинаида Антоновна. - Она сейчас так хорошо смотрит на вас, что мне стало за вас страшно.

- За что вы меня так? Почему меня надо бояться? - спросила Ника.

- Потому что вы смелая. Вам не жаль себя, но не жаль и других, сказала Зинаида Антоновна так же, как до этого сказала Лопатину про доброе сердце и злой ум. Сказала так, словно опять поставила свою подпись под приговором.

Лопатин поднялся.

- Может быть, вас проводить? - спросил он у Ники, сообразив, что, кроме него, она единственная, кому или сейчас, или немножко позже нужно уходить из этого дома.

- Спасибо, я заночую здесь.

- Она будет ночевать у меня, - сказала Зинаида Антоновна. - Я боюсь за нее, когда она поздно уходит. Ей очень далеко ехать, а потом очень далеко идти.

Лопатин стал прощаться.

- Благослови вас бог, если он есть, - сказала Зинаида Антоновна, когда он наклонился, чтобы поцеловать ей руку.

- Вдруг мы и правда здесь уже не увидимся, - вздохнув, сказала молчавшая почти весь вечер Ксения. - Можно, я тебя поцелую?

Она потянулась и поцеловала Лопатина в лоб, прошептав при этом: "Все было так хорошо".

- А мы с вами, наверно, еще встретимся, - как-то непонятно, мимоходом сказала Ника, пожимая Лопатину руку.

- Я пойду провожу вас через проходные дворы, это гораздо

ближе, - уже в передней предложил муж Ксении и полез в рукава шубы.

- Не стоит, - сказал Лопатин. - Я обойду, тут все равно недалеко...

Но муж Ксении уже влез во второй рукав шубы, и останавливать его было неудобно.

Они вышли вместе. Ночь была тихая и морозная. Под ногами хрустел снег. Муж Ксении молча шел через проходные дворы, шагая чуть впереди Лопатина, показывая ему дорогу.

Кто его знает, о чем думает сейчас этот молчаливый человек.

Неизвестно, какой он сам. Известно только одно: Ксения при нем стала лучше, чем была до него. Промолчала сегодня почти весь вечер, не мешала другим говорить о чем-то другом, кроме нее.

Лопатин с усмешкой вспомнил о своих напрасных стараниях научить ее сначала думать, а потом говорить. "Я так и не научил, а этот, очевидно, научил. Интересно - как? Поколачивает он ее, что ли, чтоб не болтала? Не похоже, но кто их знает? Иногда и самому хотелось с отчаяния отлупить ее, чтоб не трещала над ухом. А у этого помалкивает - и ничего! Еще и смотрит на него при этом влюбленными глазами. А может, вообще все проще простого: его любит, а тебя никогда и не любила? Какая это любовь при полной неспособности подумать о другом человеке, что для него хорошо и что плохо? Вот уж о чем она никогда не думала.

А теперь, наверное, думает".

Когда подошли к дому, где жил Вячеслав Викторович, и остановились проститься, так и не сказав друг другу по дороге ни слова, муж Ксении по-старомодному снял шапку.

- Разрешите откланяться. - И, пожав Лопатину руку, в последний момент добавил: - Хочу, чтоб вы знали только одно. Если вдруг сложатся обстоятельства, при которых для вашей дочери окажется необходимым жить здесь, с нами, я вполне готов к этому.

Сказал, повернулся и пошел.

Лопатин стоял и глядел ему вслед.

Обстоятельствами, которые могли вдруг этого потребовать, была война, на которой тебя могли вдруг убить. Об этом и шла речь. Что ж, спасибо и на том...

10

- Ну, кто у них там был? - спросил открывший дверь Вячеслав Викторович. - Ты долго засиделся.

И когда Лопатин ответил, что засиделся потому, что был долгий и интересный для него разговор с Зинаидой Антоновной,

невесело усмехнулся.

- Когда-то и у меня бывали с ней долгие разговоры. Когда ставила до войны спектакль, для которого я писал ей интермедии в стихах. Умеет вымотать все кишки из человека, покуда он ей интересен. А потом пройдет мимо него, задрав свой бушприт к небу, словно никогда и не знала. Безмерно талантлива, но жестока.

И берет на себя право быть судьею чужих поступков, не заботясь вникать в причины. Когда-то была влюблена в меня по уши. Не по-женски, а как это говорят, по-человечески. А теперь еле здоровается.

Лопатин молчал. Два человека в один и тот же вечер в двух разных домах одного и того же города, на расстоянии сказали друг другу все, что они друг о друге думали. И ему не хотелось быть третьим лишним в этом жестоком заочном споре.

- А Нику ты еще увидишь, - сказал Вячеслав Викторович. - Будет у меня на Новом году.

- То-то она мне сказала на прощание, что мы еще встретимся.

- Будет, - повторил Вячеслав Викторович. - И ее увидишь, и того, кто при ней состоит. Он тоже будет. Еще неделю назад бутылку коньяку и банку консервов принес, свой пай.

- А что она из себя представляет, по-твоему? - спросил Лопатин, с удивившей его самого силой неприязни подумав о неизвестном ему человеке, с которым она придет сюда на Новый год.

- Представляет из себя женщину, которую трудно не заметить, что с тобой и произошло, - сказал Вячеслав Викторович. - Достоинства - что самостоятельная; кончала театральный институт, но хорошей актрисой не стала, а плохой не захотела быть.

Заведует в театре костюмерной. А кроме того, шьет и перешивает, говорят, хорошо, - бабы к ней в очереди. Кормит этим себя, сына и мать. Сюда придет самостоятельно, свой пай внесла за себя сама.

А недостатки? Терпит около себя дешевого человека. И боюсь, как бы не кончилось тем, что стерпится - слюбится. Хотя, по-моему, сама уже поняла, что дешевый... А впрочем, где их тут, у нас, возьмешь - дорогих? Дорогие сам знаешь где! - горько, с нотой самоуничижения добавил он и усмехнулся.

- А сын от кого? - спросил Лопатин.

- Надо думать, от бывшего мужа, но при мне не распространялась о нем. Вообще не болтлива... Как твоя Ксения в своем новом быту?

- Довольна жизнью.

- Черт ее знает, - сказал Вячеслав Викторович. - Иногда годами думаем о женщинах, что они не такие, какие нам были нужны, а потом вдруг возьмешь и подумаешь: а может, мы не такие, какие им были нужны? Все-таки каждая невышедшая жизнь - дело обоюдное. Будь ты сам другой, могло бы и выйти!

- Не знаю. Меня на раскаяние не тянет.

- И присутствие нового мужа не зацепило?

- Не зацепило, - сказал Лопатин, которого зацепило совсем другое.

Когда эта молодая женщина смотрела на него там, за столом, своим странным, словно издалека вернувшимся взглядом, ему показалось, что она одинока и свободна. Оказывается, нет. И не одинока и не свободна. И придет сюда послезавтра на Новый год с каким-то "дешевым", как выражается Вячеслав, человеком. Не одна, а вдвоем.

Он прошелся по комнате и взял в руки лежавшую на столе толстую конторскую книгу. Открыл и увидел на открытых страницах длинные строки, написанные тем ровным и твердым разборчивым почерком, которым Вячеслав всегда перебеливал свои стихи.

- Может, все-таки прочтешь? - спросил Лопатин, закрыв книгу.

Вячеслав Викторович не ответил. Отодвинулся от стола вместе со стулом так далеко, что только подрагивавшие кончики пальцев остались лежать на самом краю, сидел и смотрел на Лопатина, словно решая что-то гораздо более важное, чем прочесть или не прочесть ему сейчас то, что переписано в эту тетрадь. Потом сказал:

- Позавчера сам думал об этом, но боялся тебя. А сейчас не боюсь. Наверно, потому, что ты пьяный.

- Я не пьяный, - сказал Лопатин. - Больше говорили, чем пили.

- Значит, показалось. Но все равно прочту. - Вячеслав Викторович пододвинул к себе по столу конторскую книгу и стал перелистывать ее. - В общем-то, все вытекает одно из другого, но пока все вразброд. Вспоминаю то один год своей жизни, то другой. А прочту тебе "Гамбург", - сказал он, остановившись и разогнув книгу, чтобы удобнее было читать.

Слово "Гамбург" заставило Лопатина вспомнить прежние стихи Вячеслава, написанные шесть лет назад. Они назывались както по-другому, но были о том, как пароход, на котором плыл Вячеслав, останавливался в Гамбурге, уже при фашистах.

Глава из книги, которую Вячеслав Викторович читал Лопатину, была написана белым стихом. Лопатин не то что не

любил белых стихов, но, слушая их, имел привычку всегда, когда это выходило, мысленно превращать их в прозу.

Так он начал слушать и сейчас, не изменяя своей разрушительной привычке.

Но через несколько десятков строк это мысленное превращение стихов в прозу у него вдруг перестало выходить.

Глава была вовсе не о Гамбурге тридцать шестого года, когда Вячеслав делал там остановку на пароходе, а о Гамбурге двадцать третьего, в котором Вячеслав не был. И даже не о Гамбурге, а о том, чем было тогда для его двадцатилетней души это последнее вооруженное восстание на Западе, последний раскат мировой революции, о которой до этого все еще продолжали думать, что она не остановится на границах России.

Вячеслав писал не множественно, не о других; он писал: "я".

В стихах было щемящее чувство обманутости Западом, от которого ждали другого. И горькие строки о себе самом. О том, как много он чувствовал и как мало успел. Были прямо с чтения вслух запомнившиеся Лопатину строчки о гражданской воине:

Не рублен клинками и тифом не тронут, По горло в воде не прошел Сиваша ми, - Всего и успел, что душой прикоснулся...

Раньше в прежних своих стихах, наоборот, старался создать впечатление, что прикоснулся к гражданской войне не только душою, но и телом, настаивал на этом, а здесь с запоздалой горечью писал, как было.

В поэме несколько раз повторялись строки о какой-то русской женщине там, на последних умирающих баррикадах Гамоурга. Она появлялась то просто как женщина, которую могут убить, то как вложенная в ее тело частица нашей души, трагически присутствующей при этом последнем баррикадном бое там, на Западе.

Вячеслав читал негромко и ровно, непохоже на себя прежнего.

Дочитал, закрыл свою конторскую книгу и ничего не спросил.

В том, что услышал Лопатин, было стремление разобраться в самом себе, более высокое и, наверное, более нравственное, чем то стремление показать себя - какой ты, - которым были одушевлены прелате, даже самые хорошие, стихи Вячеслава.

Но Лопатин не сказал всего этого, просто похвалил:

- По-моему, хорошо. - И спросил про женщину: - Кого ты вспоминаешь? Наверное, Ларису Рейснер? Она писала тогда корреспонденции из Гамбурга.

- Да, ее.

- Ты ведь знал ее. - Лопатин хорошо помнил, как Вячеслав рассказывал ему о своем знакомстве с Рейснер.

- Нет, не знал, - сказал Вячеслав Викторович. - О ней много знал, а ее - нет. - И поднял глаза на Лопатина: - А что, говорил тебе, что знал?

Лопатин кивнул.

- Нет, не знал. Но захотелось, чтобы она прошла в стихах через этот двадцать третий год. Гамбург был последней революцией, которую она видела, перед тем как умереть от тифа. Ты не поклонник белых стихов...

- Все равно хорошо, - сказал Лопатин.

Он смотрел через стол на Вячеслава, на его знакомое исхудавшее красивое лицо, с высоко приподнятыми сейчас бровями, словно он чему-то внутри себя удивился, когда услышал: "хорошо".

Смотрел на это все равно, что бы ни было, дорогое лицо, дорогое раньше и дорогое сейчас, и думал, что с этим человеком надо чтото сделать. Неизвестно что, но надо!

Вячеслав Викторович задумчиво барабанил своими худыми пальцами по захлопнутой конторской книге со стихами, и Лопатин, глядя на него, вспомнил его слова в первый вечер, что он пишет книгу о своей жизни, которая никому не нужна.

Как может быть никому не нужна жизнь человека? Совсем никому не нужна? И как может быть никому не нужна книга, если она написана о жизни человека? Даже если ему самому кажется, что его жизнь никому не нужна? И вообще, что нужно и что не нужно? Не слишком ли просто мы и самим себе, и другим отвечаем на этот вопрос? Да, может быть, сейчас эта поэма про Гамбург и про двадцать третий год не нужна и даже трудно представить себе, чтобы ее сейчас напечатали. Может быть, и ты сам, если б тебе решать, не напечатал бы ее сейчас. Все так! Но наверно, когда самому человеку кажется, что он пишет никому не нужную книгу, но он все-таки пишет ее, находит в себе удивительную силу писать то, что, как ему кажется, в эту минуту никому другому не нужно, - странно, если бы это действительно оказалось никому не нужным!

Странно, если бы нравственная сила, заставляющая в такие минуты человека все-таки писать, делать не что-то другое, а писать, и писать так хорошо, как он только может, так и пропала бы даром.

Наверное, такая сила не может, не должна пропадать даром - в этом было бы что-то слишком несправедливое!

- Что молчишь? - спросил Вячеслав Викторович. - Я не жду подробностей. Можем перейти на другую тему... Едешь точно второго?

Лопатин так и не успел ответить. В дверь послышался резкий

стук, и Вячеслав Викторович вернулся с одетым в шинель, застегнутым на все пуговицы Губером.

- Василий Николаевич, нам с вами необходимо ехать в штаб округа. Я сдавал на узле связи материал и получил телеграмму от редактора. Приказано соединить вас с ним по телефону.

- Поехали. - Лопатин стал надевать полушубок; он сидел за столом, накинув его на плечи.

- Нет, уж вы лучше портупею и пистолет сверху, - сказал Губер. Дежурный по штабу округа может придраться. У нас тыловые строгости.

Лопатин снова снял полушубок, расстегнул ремень с оттягивавшим его пистолетом и, надев полушубок, стал затягивать поверх него ремень, не попадая в дырки.

- А портупея у вас где?

- А черт ее знает где. Где-то оставил! Не то в Москве, не то в Сталинграде. Без портупеи хожу.

Губер только вздохнул. Запасной портупеи для приезжего корреспондента "Красной звезды" у него не было предусмотрено.

- Долго его не держите, - попросил Вячеслав Викторович, провожая их до дверей. - Я его буду с чаем ждать. И вас тоже, если на этот раз зайдете.

- Покорно благодарю, - сказал Губер. - К сожалению, не от нас зависит. Сколько продержат на телефоне.

Только когда вышли, сели в "эмку" и поехали, он сказал Лопатину то, чего не сказал при Вячеславе Викторовиче, - что телеграмма была срочная и строгая. "Непременно сегодня же любой час ночи обеспечьте разговор телефону".

- Что-нибудь новенькое, - усмехнулся Лопатин. - Загонит куда-нибудь в обратном направлении.

И спросил у Губера:

- Как у вас тут с самолетами на Москву?

- Если есть погода, идут почти всякий день. Я уже справился у оперативного дежурного. И насчет связи тоже его предупредил.

Обещали помочь, думаю, до утра не просидим.

"Эмка" притормозила на перекрестке.

Военный патруль с автоматами вел посреди мостовой двух задержанных гражданских. Видимо, задержание было серьезное, оба патрульных шли с автоматами наизготовку.

- Балуются в эту зиму у нас в Ташкенте, - сказал Губер. - Уголовники стянулись. Зима ожидалась теплой. За месяц несколько грабежей и убийств. Последние дни, правда, их крепко прижали. Проверяют, ловят, при любой попытке вооруженного сопротивления приказ коменданта: пулю в лоб! Одна банда убила в разных местах трех офицеров, находившихся после госпиталей в

отпусках по болезни. Убили, раздели и в их обмундировании прибыли сюда, в теплые края, действовать.

- Поймали? - спросил Лопатин.

- Этих поймали! Верней, перебили. Отстреливались, на пощаду, понятно, не рассчитывали.

"Да уж какая тут пощада!" - подумал Лопатин.

Его передернуло от мысли об этих трех убитых где-то в разных местах офицерах. Сначала война загнала им в тело пули или осколки. Потом их выносили с поля боя, везли в медсанбаты, оказывали по дороге первую помощь. Потом оперировали, зашивали, говорили: "Будешь как новенький!" Потом везли подальше от войны, на восток, долечиваться. Потом выписали с отпускными билетами - повидаться с родными, перед тем как вновь на войну. А потом какая-то сволочь где-то ночью в глухом переулке убила и раздела.

И то, что сняла с мертвых и надела на себя, надела для того, чтобы убить еще кого-то!

- Так что комендатура тут у вас жесткая? - спросил он вслух.

- А какой же ей еще быть, - сказал Губер. - Сами знаете:

война не идиллия. Нигде не идиллия. И здесь, в тылу, тоже. Считается, что сюда за этот год больше миллиона людей приехало.

И половина из них осела в Ташкенте. А в таком море чего только не плавает - все есть. Тут сейчас военной комендатуре - и не ей одной работы с головой! Всякой работы, в том числе и такой, чтоб рука не дрогнула.

Сказав это, Губер рассмеялся. Он редко смеялся, и это было тем более неожиданно.

- Меня тут, как старого строевика, хотели в комендатуру сманить на помкомеыданта. И я дал понять, что согласен. Решил про себя: раз редактор на фронт не пускает, легче от них, из комендатуры, через полгода вырвусь! Но его запросили - и сразу крест!

Наверно, подумал, что я тихой жизни ищу!

Уже почти подъезжая к самому штабу округа, они увидели еще один патруль. Этот шагал не по мостовой, а по тротуару и без задержанных.

В знакомом Лопатину по тридцатым годам старом здании штаба округа было холодно. Холодно в коридорах и на лестницах, холодно и в большой пустой приемной перед кабинетом командующего.

Поднявшись из-за стола, адъютант сказал, что командующий уехал на бюро ЦК, но по докладу оперативного дежурного разрешил корреспондентам "Красной звезды" воспользоваться

связью в свое отсутствие.

- Пока присаживайтесь!

Он снял трубку и назвал по телефону знакомый Лопатину прямой междугородный "Красной звезды", по которому дежурили стенографистки. Несколько раз за войну Лопатину удавалось дозваниваться им из разных мест по этому номеру.

- Как со связью? - спросил адъютант. - Корреспонденты здесь.

Лопатин посмотрел на часы: половина третьего ночи.

"Да, поздно они сидят здесь на бюро ЦК, как мы в редакции с номером".

Адъютант был молоденький, и старанием строго держать себя напомнил Лопатину Велихова - адъютанта покойного Пантелеева.

Где он теперь, этот Велихов, и какой стал? И куда и с кем отходил потом из Симферополя - на Севастополь или на Керчь? И жив ли после всего этого, или убит, или потонул?

Раздался телефонный звонок.

- Дают редакцию, - сказал адъютант и задержал телефонную трубку в руке, не зная, кому отдать - Лопатину или Губеру.

Лопатин потянулся к трубке, но Губер шагнул вперед и сам взял ее, и, когда уже взял, Лопатин мысленно выругал себя за бестактность - нельзя было лишать Губера возможности самому доложиться по телефону редактору. Наверно, не так часто это бывает!

- Говорит Губер, прошу дивизионного комиссара. Звоню по его приказанию.

Редактор говорил с Губером недолго - минуту, но, кажется, похвалил его.

- Есть! Будет сделано. Передам второй материал в таком же духе, сказал Губер. - Есть! - И протянул трубку Лопатину.

- Как дела? Еще не закончил? - без предисловий спросил редактор.

"Так оно и есть, сейчас вызовет в Москву", - подумал Лопатин.

И сказал, что работы осталось на три дня, не закончил, но, если надо, готов прервать.

- Раз не закончил, прерывать не надо, - вопреки ожиданиям, сказал редактор. - Когда в Красноводск, второго?

- Второго утром.

- Так и выезжай. Не задерживайся, обстановка не позволяет.

- Мне все ясно, товарищ дивизионный комиссар, - сказал Лопатин, хотя ему было как раз неясно, зачем редактору потребовалось вызывать его к телефону.

- Поздравляю вас с наградой! - вдруг на "вы" сказал редактор, и в голосе его прозвучала торжествующая нота. - По представлению редакции, Военным советом Сталинградского фронта награждены орденом Красной Звезды.

- Благодарю, - сказал Лопатин.

Полагалось сказать: "Служу Советскому Союзу", но в телефонную трубку почему-то не получилось.

- Наводил справки. Ефимова там, где ты будешь, очевидно, встретишь. Вопросов нет?

Лопатин вдруг вспомнил лицо Вячеслава в тот первый вечер, когда они заговорили с ним о Ефимове. Лицо человека, которого всего один шаг отделял от мольбы: "Возьми меня с собой!"

- Вопросов нет, есть предложение.

- Какое еще предложение? - недовольно спросил редактор.

Там, в Москве, верстали номер, и он спешил.

Лопатин стал торопливо объяснять ему про Вячеслава - что тот просится поехать с ним вместе на фронт от "Красной звезды".

Если редактор согласится на это и свяжется с Политуправлением округа, наверное, можно будет тут, на месте, выдать ему обмундирование и предписание до Тбилиси. А туда, в Тбилиси, в штаб Закавказского округа, фельдсвязью прислать на

него, как на корреспондента "Красной звезды", предписание в действующую армию.

- Он сможет сделать для нас и хорошие стихи, и очерк, - говорил Лопатин, боясь, чтобы редактор не перебил его на полуслове. - Я буду все время с ним и отвечаю за его поведение на фронте.

Редактор, против ожидания, не перебил. Лопатин кончил, а он еще молчал - наверное, думал. Но, помолчав и подумав, наотрез отказал.

- Тебе некогда будет с ним возиться. У самого хватит работы.

Будет много работы! Много! Понял меня? А он, если просится на фронт, пусть пишет мне в Москву. Попросится - решим. И, без паузы добавив: - У нас еще одна потеря, девятая, Хохлачев полетел стрелком на штурмовике и сгорел, - не попрощавшись, положил там, в Москве, трубку.

Хохлачева этого Лопатин лично не знал - его только недавно перевели в редакцию из фронтовой газеты. Забрали после того, как редактор прочел во фронтовой и перепечатал у себя его очерк о полетах на бомбежки стрелком-радистом. За этот очерк и взял к себе в редакцию. Поставил на летучке в пример другим и послал к летчикам. И он полетел на штурмовике за корреспонденцией для "Красной звезды"...

Почему редактор вдруг сказал об этом Лопатину под самый конец разговора, на прощание, - кто его знает? Может, после просьбы о Вячеславе захотел напомнить, что война есть война, а не экскурсия на фронт, и нечего на себя брать лишнее - отвечать еще за кого-то, когда неизвестно, что потребуют от тебя от самого!

- Сообщил, что Хохлачев, новый наш корреспондент, погиб на штурмовике, - сказал Лопатин Губеру, положив трубку.

- Не знал его, - коротко ответил Губер и, поблагодарив адъютанта, вышел вместе с Лопатиным из приемной. И только уже там, когда шли по гулкому холодному коридору вдвоем, спросил, какой был ответ редактора на предложение Лопатина.

- Отказал.

- Я так и думал, - сказал Губер.

И Лопатин по его тону почувствовал, что совершил неловкость:

говоря с редактором, за Вячеслава попросил, а про стоявшего рядом, около трубки, Губера, что он хочет на фронт, - ни слова! "Да, некрасиво вышло", - подумал он. И так прямо и сказал об этом Губеру:

- Извините меня, некрасиво вышло, что за него при вас просил, а о вас самом промолчал. Как только вернусь в Москву,

исправлю это - даю слово!

Губер кивнул, но ничего не ответил.

- С выездом в Красноводск остается в силе? - сухо спросил он уже на улице, когда вышли из здания округа.

- Остается в силе, - сказал Лопатин.

Он думал, что Губер поедет в машине вместе с ним и можно будет по дороге как-то еще смягчить неловкость. Но Губер в машину не сел, сказал, что живет недалеко от штаба округа и хочет перед сном пройтись. Приказав шоферу отвезти Лопатина, руку на прощание пожал, но в глаза не смотрел; как видно, и в самом деле рассердился...

Лопатин ехал в машине рядом с замерзшим и недовольным водителем и думал: как просто и быстро решаются во время войны вопросы за спиной ничего не подозревающего человека. Раз-два, и готово! И уже не вернешься к этому. Хотя от того или другого решения могла зависеть вся дальнейшая судьба Вячеслава. И даже не в смысле жизни и смерти - можно поехать на фронт и остаться жить, а можно и здесь, в Ташкенте, заболеть и помереть, а в каком-то еще более важном смысле: как ему дальше жить, какой жизнью?

И хотя редактор по телефону имел полное право сказать свое "нет!", все-таки в том, что вот так: раз-два, и готово! - было что-то обидное.

11

Вячеслав Викторович открыл дверь в пальто, накинутом на плечи поверх нижнего шерстяного белья.

- Извини, не стал ждать тебя с чаем - замерз.

Он лег на свою продавленную тахту, накрывшись пальто поверх двух одеял.

- Чай, - кивнул он на стол, на котором стоял завернутый в халат чайник. - Когда развернешь, кинь на меня еще и халат, чтото лихорадит.

Лопатин развернул чайник, укрыл Вячеслава Викторовича поверх пальто халатом и налил себе стакан чаю.

- Чай жидкий, кончается, - сказал Вячеслав Викторович.

Чай был действительно жидкий, но еще горячий. Лопатин отпил полстакана и, чтобы не забыть, пошел во вторую комнату, вынул из чемодана, принес и положил на стол осьмушку чая.

- А тебе в дорогу?

- Хватит, еще одна осьмушка есть.

Лопатин допил стакан и жадно налил еще. Ему тоже все время было холодно. И там, в штабе округа, и в машине, и здесь.

- Зачем тебя вызывали к телефону? Какие новости или перемены? - спросил Вячеслав Викторович, когда Лопатин

дохлебал второй стакан чая.

- Перемен нет, - сказал Лопатин. - Еду утром второго в Красноводск. А новости... - Он помедлил с ответом и сказал то, чего не сказал Губеру: что награжден орденом Красной Звезды.

- Поздравляю, - Вячеслав Викторович как был, в одном белье, вылез из-под одеял, пальто и халата и обнял Лопатина. - Совершить, что ли, грех, изъять из новогодней складчины? Обмыть-то надо.

- Не надо, не греши. Послезавтра на Новом году заодно и обмоем.

Вячеслав Викторович недовольно повел головой - очень хотел согрешить, но спорить не стал и залез обратно на тахту подо все наваленное на себя.

- Какой он хоть из себя, ваш знаменитый редактор? - спросил он.

И хотя вопрос был естественный, Лопатин с удивлением подумал, что Вячеслав даже не представляет себе, как выглядит человек, только что по телефону решавший его судьбу.

Он усмехнулся и сказал, что их редактор довольно обыкновенный с виду дивизионный комиссар тридцати девяти лет от роду. Не так давно, всего пять лет, носит военную форму, но выглядит в ней вполне по-военному. Роста среднего, поджарый, особых примет не имеет. Разве что одну: почти все, что бы ни делал, делает с ненормальной быстротой. При уме и характере академической образованностью не отличается; один из тех людей, которые всю жизнь сами себя образовывают, как говорится, без отрыва от производства.

- А как ты думаешь, - помолчав, спросил Вячеслав Викторович, ни разу не улыбнувшийся, пока Лопатин полусерьезно-полушутя говорил все это, - вот я два раза посылал ему туда свои стихи. И он - теперь мне это уже ясно по физиономии Губера - оба раза не напечатал. Как по-твоему: он сам-то читал мои стихи? Как ты думаешь?

- Не знаю, думаю, читал, - ответил Лопатин, думавший совсем не об этом - сам или не сам читал редактор стихи Вячеслава, - а о том, как бы все вышло, если бы редактор вдруг согласился и тут же сразу, как это у него водится, стал бы звонить о Вячеславе в Политуправление округа. А этот вот лежащий сейчас на своей продавленной тахте, под одеялами, пальто и халатом, плохо себя чувствующий и плохо выглядящий человек, формально освобожденный от службы в армии по какому-то там пункту о неполной пригодности, в ответ на твое предложение ехать вместе на Кавказский фронт вдруг взял бы да не поехал!

И даже не отказался бы прямо, а уклонился. По многим -

сразу причинам, которых в таких случаях хватает у человека. Что тогда? Решил сам - за него и без него, - что он готов ехать, и даже солгал, что просится, а потом бы оказалось, что все не так!

- Наверно, я должен был подумать об этом еще в Москве, - после молчания сказал Лопатин, глядя на Вячеслава Викторовича и решив договорить все до конца. - Хотя, с другой стороны, я не мог думать об этом заранее, не увидев тебя. То, что я скажу тебе сейчас, практически бессмысленно, - это уже невозможно сделать.

И все-таки ответь мне: если бы я мог вот здесь, сейчас, обмундировать тебя, оформить документы и второго уехать отсюда на Кавказский фронт вдвоем с тобой, как бы ты решил для себя этот вопрос?

Вячеслав Викторович сел на тахте, потянув за собой одеяло, пальто и халат и прислонившись спиной к стене. Сейчас, когда он вот так прислонился к стене, стало видно, какие худые, выпирающие ключицы у него там, под грязным шерстяным бельем.

- Тебе будет странно, - сказал он, - но я сам один раз уже подумал об этом.

- И даже знаю когда. Когда я говорил тебе, что, может, попаду в армию к нашему общему знакомцу - Ефимову. Так?

- Да. Подумал, но смолчал, понимая, что это невозможно, не от тебя зависит. Не стал напрасно сотрясать воздух: ах, как бы я хотел поехать! Чувства стыда не потерял. Кое-что про меня - правда, но это клевета.

- Укройся, - сказал Лопатин, - тебе холодно.

- Мне не холодно. Только налей мне чаю - неохота вставать.

Лопатин налил стакан, подал ему и сел на край тахты.

- Еще не остыл, - Вячеслав Викторович отхлебнул глоток.

Он сжимал стакан в руках, согревая им ладони. - Скажи мне, пожалуйста. Несколько раз удерживался от того, чтобы спросить у других, а у тебя спрошу: тот П. А., который иногда пишет у вас в "Звезде" очерки из действующей армии, - неужели это тот самый, которого таким смертным боем били в начале тридцатых за все, что бы он ни написал. И за идеализм, и за пацифизм, и за псевдогуманизм, и еще черт знает за что! И просто за некоторые странности его письма. Неужели он?

- Он самый, - сказал Лопатин. - Странностей его письма я и теперь не поклонник, но сам он в моих глазах выше всех похвал.

Начал с ополчения, дослужился до пехотного капитана и на второй год войны, когда никто уже и не думал, где он и что он, а если и думал, считал, что этот уж, конечно, в эвакуации, - прислал в редакцию свой первый очерк, написанный от руки и без напоминаний, что он писатель. Прислал не как иногда мы,

грешные, - из штаба фронта, с пометкой: "Действующая армия", а прямо с переднего края и без пометки. Пометку уже в редакции поставили. Напечатали первый - прислал второй. После второго забрали в редакцию в приказном порядке. Не только без его просьб, но и без согласия. С тех пор ездит от нас и пишет. Наши ребята-корреспонденты стараются подгадать, поехать с ним в паре. Любят молодой любовью и называют между собой "Тушиным".

- Сам его видел? - спросил Вячеслав Викторович.

- На войне не приходилось. Только раз - в редакции. Съехались с разных фронтов, выпили три чайника чая с колбасой, которую добыл нам один неравнодушный к литературе старший политрук, и обменялись сапогами. За чаем выяснилось, что мне мои велики, а ему его жмут. Между прочим, и сейчас в его сапогах.

Лопатин говорил все это, ощущая жестокий для Вячеслава смысл сказанного, но все равно говорил. Да, вот так оно все вышло с тем, другим человеком, и пусть слушает, терпит, раз спросил.

- Много неожиданного, - сказал Вячеслав Викторович, продолжая греть руки о стакан, и еще раз повторил: - Много неожиданного.

"Да так ли уж много! - подумал Лопатин. - Это правда, что часто и много за эти годы войны говорим, что не ожидали того и не ожидали этого! Говорим о событиях, говорим о людях, говорим о хороших и о дурных поступках. Но все-таки почему так уж много неожиданного? Может, надо поменьше удивляться? Может, бывало и так, что плоско, скудно, недальновидно думали о жизни, о людях и обстоятельствах? Конечно, проще всего все, что вышло не так, называть неожиданным. Назовешь, и вроде бы уже не надо над этим думать! Хотя думать, наверное, все же надо! И с этим П. А., по сути, так ли уж все неожиданно? А почему, если человек, хотя и ошибался, не подличал, хотя и били, не хныкал, хотя и любил и понимал людей как-то странно по-своему, по-иному, чем другие, но любил и сам оставался человеком, - почему от него нельзя было ждать, что пробьет час - и станет "Тушиным"? А не станет "Тушиным", наоборот, кто-то другой, про кого говорим теперь, что это для нас неожиданно, только потому, что сами раньше неглубоко думали: от кого и чего ждать?

Лопатин вспомнил, что надо предупредить Губера: пусть оставит при себе тот разговор с редактором, который слышал в штабе.

Говорить сейчас Вячеславу об ответе редактора не надо. Получится: вроде бы уже попросил за него и умыл руки, а что

дальше - не твое дело!

Надо другое: вернуться из этой поездки в Москву и вдолбить там редактору, что такие таланты, как Вячеслав, на земле не валяются. Что ты должен его взять с собой в поездку, пускай на первый раз в короткую, не самую трудную. И дело не только в тех стихах или в очерке, которые он привезет с фронта; хорошие или нет - неизвестно. А в том, как дальше жить и писать такому непустячному для литературы человеку. Генералы тоже не все красиво выглядели в сорок первом. Но многим дали оправдаться. И оправдались.

Только так и надо с редактором о Вячеславе, с глазу на глаз.

С глазу на глаз - Матвей понимает такие вещи. И чаще, чем о нем думают.

Вячеслав Викторович, продолжавший сидеть все в той же позе с остывшим стаканом чая в руках, вдруг оторвался от стены, слез с тахты, сунул ноги в растоптанные домашние туфли и, надев поверх белья узбекский ватный халат, ушел в переднюю. Через минуту он вернулся, одной рукой придерживая у горла полы халата, а в другой неся четвертинку.

- Все-таки не прощу себе, если, первым узнав, не обмою с тобой твой орден. - Он поставил четвертинку на стол и принес с подоконника горбушку черного хлеба и банку с горчицей. - Водка чужая, но в растратчиках не останусь. За два дня достану что-нибудь равнозначное.

Вячеслав Викторович вернулся к подоконнику и принес оттуда Два, как показалось Лопатину, немытых стакана, не садясь за стол, разрезал горбушку и намазал свою половину горчицей.

- Тебе тоже намазать?

- Мажь.

Вячеслав Викторович снова пошел к подоконнику и принес солонку, в которой было немного соли на дне, взял оттуда щепоть и густо посолил поверх горчицы оба куска хлеба. Потом открыл четвертинку и разлил пополам водку.

- Поздравляю. - Он дотронулся до стакапа Лопатина. - Будь жив до конца! Главное - жив!

И выпил до дна, не садясь.

Лопатин кивнул и молча в два приема выпил свою долю, переполовинив хлебом с горчицей. Горчица была такая крепкая, что проняла сильней водки.

Вячеслав Викторович сел за стол, опустив голову.

- Я сегодня днем задремал и видел маму, что она кормит нас с тобой пельменями, а это к счастью. К твоему - она тебя любила, - подняв от стола глаза и глядя в лицо Лопатину, сказал Вячеслав Викторович. - Когда вернешься в Москву и увидишь, что есть

возможность взять меня с собой в поездку на фронт, прежде чем окончательно договариваться, пришли мне телеграмму. Какую-нибудь условную, чтобы не поставить меня в неловкое положение, ну, скажем: "Как твои дела?" А я, если решусь ехать, отвечу: "Хочу увидеться". Договорились?

- Нет, не договорились, - сказал Лопатин, который, услыхав это, вдруг почувствовал, что, наверно, все-таки прав не он, а редактор со своими суконными словами: "попросится - решим". - Знай заранее: все, что будет в моих силах, там, в Москве, сделаю. Но без условных телеграмм. Захочешь ехать, так и напиши! А я напоминать тебе о таких вещах не буду. Не хочу и не должен.

- Ну что ж, может, ты и прав. - Вячеслав Викторович выговорил это с видимым трудом.

- Да, в данном случае прав я, - сказал Лопатин.

- Ты стал другим, чем помню тебя, - сказал Вячеслав Викторович. - Не знаю, хуже или лучше, но другим.

Лонатин молчал. Глядел на него и не жалел о сказанном. Потому что нельзя такие вещи начинать не с того конца, с какого надо их начинать! Страна вправе решить за кого-то, что надо его сберечь, отставить от войны. Даже от такой, как эта. Но никто, никакой человек не вправе сам отставлять себя от войны...

И как ни тяжело дать почувствовать это Вячеславу, сидя через стол от него и глядя ему в глаза, а все-таки пришлось дать почувствовать. Иначе все, что будет дальше между ним и тобой, будет неправдой...

12

- Вася, вставай. За тобой машина пришла.

Лопатин, плохо соображая спросонок, спустил ноги с постели и увидел в дверях одетого в пальто Вячеслава Викторовича.

- А ты куда собрался?

- Никуда. Просто мерзну сегодня.

Он распахнул пальто, под пальто был ватный халат.

- Только что слушал сводку, сводка хорошая: под Котельниковом захватили сорок противотанковых орудий.

- А который час?

- Уже девять, - продолжая стоять в дверях, сказал Вячеслав Викторович. - Пожалел тебя будить: спал как сурок.

В комнате и правда было зверски холодно, и Лопатин стал поспешно одеваться.

- Чай я уже подогрел, опоздаешь не так намного, - сказал Вячеслав Викторович и вышел.

Лопатин одевался и злился на себя, что проспал. Вчера они с режиссером проработали тринадцать часов подряд - с восьми утра до девяти вечера - и к концу совсем обалдели. Хотели сделать

побольше, чтобы сегодня, под Новый год, закончить пораньше. Но как бы ни обалдели вчера, опаздывать сегодня неловко. А до начала работы надо еще заехать на продпункт получить перед Новым годом хлеб и вообще что дадут. Потом уже времени не будет. Хорошо, что Губер прислал машину.

Кинув на шею полотенце, Лопатин вошел в соседнюю комнату.

Там за столом сидел какой-то человек в пальто. Не успев разглядеть его, Лопатин кивнул и прошел в переднюю.

- Даже вода за ночь замерзла, - сказал Вячеслав Викторович, стоявший за кухонным столом спиной к Лопатину.

Вода в умывальнике была ледяная. Когда Лопатин плеснул себе за шею, показалось, что кто-то сунул за ворот сосульку.

- Что ты делаешь? - спросил Лопатин, увидев, что Вячеслав Викторович переливает над кухонным столом что-то из большой бутылки в маленькую, пол-литровую.

- Керосином делюсь с тем юношей, которого ты видел, - Вячеслав Викторович кивнул в сторону комнаты. - Будет мне на орехи от моей баронессы. Но ничего не попишешь, придется пережить! - Он посмотрел на свет обе бутылки. - Ладно, семь бед - один ответ, - и долил маленькую доверху. - Пришел попросить полведра угля. А где у меня уголь? Ребенок у него замерзает. Родил, дурак, наследника, нашел время! Жена не работает, кормит и при этом еще болеет, а сам, лопух, только и умеет сочинять стихи, которые нигде не берут. Устроил его редактором в издательство.

Вместо того чтобы отредактировать да сдать, в час по чайной ложке переписывает чужую книгу. А жена с ребенком гибнут.

Он скатал обрывок газеты и заткнул бумажной пробкой отлитый керосин.

Когда они вернулись в комнату, "лопух" сидел на прежнем месте за столом.

- Будем знакомы, - сказал Лопатин, с интересом глядя на этого переписывавшего чужие книжки человека.

- Рубашкин. - "Лопух" поднялся, чтобы пожать Лопатину руку, и снова сел.

Лопатин принялся хлебать чай, искоса поглядывая на него. Перед ним стоял стакан, значит, Вячеслав напоил его чаем.

"Лопух" был худой беловолосый юноша с длинными, давно не стриженными, прилипшими к худым вискам волосами и в очках, таких толстых, что было сразу понятно, почему он не на фронте.

- Вячеслав Викторович, - с запинкой, словно пересилив себя и в то же время с внутренним вызовом сказал "лопух". - Я слышал через дверь все, что вы обо мне говорили.

- Ну и шут с тобой, что ты слышал, - сказал Вячеслав Викторович, сердито ходивший по комнате. - Поделился со своим старым другом тем, что ты лопух. Могу добавить - способный, хотя и - правой рукой за левое ухо! сам все это прекрасно знаешь, что дальше?

- Ничего. Просто хотел, чтобы вы знали, что я все слышал.

- Знаю, что ты принципиальный, мог не напоминать мне. Такой принципиальный, - это Вячеслав Викторович сказал, уже обт ращаясь к Лопатину, - что не способен, спуская последнее барахло на базаре, хотя бы поторговаться из-за него! Идет на толкучку и со своей принципиальностью приносит с базара жене вдвое меньше картошки, чем мог бы. Забирай керосин и иди. Передай привет своей Лиле. Сегодня не могу, а завтра зайду к вам. Ты прямо на киностудию едешь? - обратился Вячеслав Викторович к допившему чай и поднявшемуся из-за стола Лопатину.

- Нет, сначала к вокзалу, на продпункт.

- Тогда прихвати его с собой. Он там, у вокзала, не доезжая квартал, живет. А то еще разобьет по дороге, растяпа, керосин.

Когда ты вернешься?

- Договорились сегодня до семи работать. Думаю, к восьми буду.

- Тем лучше, - Вячеслав Викторович проводил их обоих в прихожую. "Лопуха" выпустил за дверь, а Лопатина придержал, сказав на ухо: Абсолютно все спустил на толкучке, чтоб семью кормить. Под пальто рубашка. Сил нет на них смотреть. Завтра чего-нибудь соберем им после Нового года. Не все же гости дотла сожрут?

- Может, я когда получу, хлеба отрежу? - спросил Лопатин.

- Не надо. Я завтра сам.

Сев в машину, "лопух" поставил между колен бутылку с керосином и держал ее двумя руками в грязных белых штопаных шерстяных перчатках, кажется женских.

Лопатин ехал рядом с ним и вспоминал: где он раньше слышал эту фамилию - Рубашкин? И все-таки вспомнил. Слышал ее от Вячеслава до войны, что есть у пего в семинаре такой студент Литературного института - Рубашкин; несколько стихов его напечатали, а первой книжки никак не может издать. Куда ее ни сунешь - всюду по каким-нибудь параметрам не подходит! Значит, это и был тот самый довоенный Рубашкин.

- Сколько вашему ребенку? - спросил Лопатин.

- Четыре месяца, четыре! - зло повторил "лопух", словно его не спросили, а ударили.

"Ребенка уже во время войны придумали, умники", - Лопатил

сознавал несправедливость своей мысли, но все равно сердился от невозможности помочь. И вдруг подумал: "А что, если можно помочь? Если все-таки можно?"

Ему вспомнились слова режиссера о мешке угля, который он получил как премию от студии, когда кончил картину. "Вот закончу работать над сценарием и попрошу у них там за это два ведра угля. Без объяснения причин. Попрошу, и все!"

- Если можно, остановите здесь, - попросил "лопух".

- Прижмитесь к тротуару, - приказал Лопатин водителю.

"Лопух" вылез и, сказав "до свидания", еще стоял у открытой дверцы машины. Первый не протянул руку, дожидался, чтобы это сделал старший.

"Воспитанный мальчик", - подумал Лопатин, пожимая его ледяную руку, с которой тот поспешно стащил свою штопаную перчатку. Наверно, правда, что не умеет торговаться на толкучке.

И вдруг спросил:

- Это ваш дом?

- Да.

- А какая квартира?

- А зачем вам?

- Спросил - значит, хочу знать.

- Четырнадцатая.

- Ладно, до свидания, - сказал Лопатин и захлопнул дверцу.

Когда, получив все, что полагалось на продпункте, они с опозданием на пятнадцать минут подъехали к студии, водитель сказал, что подполковник велел узнать у Лопатина, до какого часа он будет здесь.

- До семи. А что?

Водитель объяснил, что подполковник хотел заехать сегодня завезти билет на ашхабадский поезд и проститься, потому что сам уезжает сегодня в командировку во Фрунзе.

- Передайте, что до семи наверняка буду, - сказал Лопатин и, вылезая, прихватил с собой вещевой мешок с продуктами.

- А вы оставили бы мешок, товарищ майор. Подполковник сказал, чтоб, если захотите, я отвез на квартиру.

- Спасибо, раз так, - Лопатин бросил мешок обратно в машину.

Работа была в самом разгаре, когда в монтажную вошел Губер.

- Во-первых, билет, - сказал он, поздоровавшись с режиссером и Лопатиным.

- А во-вторых, кажется, будем прощаться? - сказал Лопатин, засовывая билет в карман гимнастерки.

- Пока еще нет, - сказал Губер. - Виноват, но приказано

оторвать вас от работы.

- Кем это приказано? - сердито спросил режиссер.

- Позвонили от товарища Юсупова. Просили привезти Василия Николаевича к нему в ЦК.

- Ну уж тут сам бог велел, - развел руками режиссер. - Поезжайте, а я без вас пока сметаю дальше на живую нитку. Потом вместе посмотрим. Никогда с ним не встречались?

- Никогда.

- Поезжайте, вам будет интересно. Жаль только, заранее не знали, по-другому бы работу построили. Ладно, что делать!

Делать было действительно нечего, оставалось ехать.

- Зачем это он меня вдруг вызвал? - спросил Лопатин, когда они с Губером сели в машину.

- Раз вызвал, значит, понадобились ему. Мне приказали, чтоб сам вас в ЦК доставил. Ничего не имеете против?

- Не сердитесь на меня за тот разговор по телефону, ладно? - сказал Лопатин.

- За тот разговор не сержусь. А что про свой орден не сообщили, сочли меня мелким человеком, - обижен, не скрою. Если б сказали, хотя и скромно, обмыли бы у меня дома. Все же в одной газете работаем.

- И за это. Не прав перед вами. А откуда вы узнали?

- Оттуда же, откуда и всегда. От редактора. К вашему сведению, когда кто-нибудь в редакции орден получает, он всем прочим дает по телеграмме, чтобы знали, завидовали и старались. Нате вчерашнюю газету, самолетом пришла. Посмертная корреспонденция Хохлачева напечатана.

Лопатин взял газету и увидел на четвертой полосе напечатанную подвалом корреспонденцию, о которой шла речь. Значит, Хохлачев еще раньше, до гибели, летал на штурмовку и, уже написав корреспонденцию, полетел еще раз... Фамилия была в рамке, но о смерти - как погиб - ничего не было. Слишком много людей каждый день умирает на фронте - если про всех печатать, заняло бы все четыре полосы. И для своего не стали делать исключения. Правильно, конечно. Только под корреспонденцией поставили дату, когда была написана, и пометку: "Задержана доставкой".

- Машина за вами придет второго, в десять ровно, - сказал Губер. Билет у вас. Место верхнее. Но вагон, думаю, будет неполный. Оттуда, от Красноводска, всегда набито, а туда, до конца, до Каспия, последнее время мало кто едет. Главным образом, гражданские; влезают и вылезают по пути.

- А вы много ездили по этой дороге? - спросил Лопатин.

- Ездил, но не так много. Округ-то необъятный - целая страна.

- А зачем теперь во Фрунзе?

- В пехотное училище. Первого будет выпуск, приказано дать заметку. Ваше дело - воевать, наше - ковать кадры, - усмехнулся Губер.

Они вышли у здания ЦК; Губер довел Лопатина до дверей и остановился:

- Пропуска вам не надо, пропустят по документу. Обратно на киностудию доставят. А я откланяюсь. Иначе на поезд не успею.

- Значит, Новый год - во Фрунзе, без семьи? - спросил Лопатин.

- Выходит, так. Но, откровенно говоря, жена не против этой командировки. Есть от нее задание - по дороге во Фрунзе на станции Мерке, пока поезд стоит, сахару для ребят купить. Там сахаром торгуют, и сравнительно дешево. Можно было бы сменять, говорят, за вещи больше сахару получишь, чем за деньги, но форма этого не позволяет! Жена здесь продала отрез на шинель и сапоги на толкучке и с собой деньги дала. У меня ведь кроме того сына, о котором рассказывал, еще двое - трех и двух лет. Не говорил вам?

- Не говорили.

- Первая жена умерла, а на второй поздно женился, под самую войну.

Кабинет, в который вошел Лопатин, был похож на другие такие кабинеты, где ему приходилось бывать во время довоенных поездок. Только больше, чем обычно, стояло телефонов и на письменном столе, и на длинном, для заседаний.

У дальнего конца этого очень длинного стола сидели два человека. Когда Лопатин вошел, они поднялись ему навстречу. Оба были в полувоенном. Один, бритоголовый, невысокий, но из-за неимоверной ширины в плечах и тяжести всей фигуры казавшийся все равно огромным, был узбек, второй, в роговых очках, - русский.

- Здравствуйте, товарищ Лопатин, - сказал узбек, сделав несколько шагов навстречу Лопатину, и обеими своими тяжелыми, очень большими руками потряс его руку и отпустил.

Русский, в очках, выступив из-за спины Юсупова, коротко и крепко тряхнул руку Лопатину и назвал свою фамилию, имя и отчество. Фамилии Лопатин не расслышал, а имя-отчество запомнил: Сергей Андреевич.

- Садитесь.

Юсупов сделал округлый жест рукой. Фигура и лицо у него были тяжелые, мощные, а движения легкие, округлые.

Лопатин присел к столу, на котором кроме телефонов стоял поднос с чайником и несколькими пиалами.

- Будем пить чай, - сказал Юсупов и, взяв чайник и пиалу, потонувшую в его огромной руке, налил в нее немножко чая, открыв крышку чайника, вылил чай обратно, еще раз налил и еще раз вылил обратно и только на третий раз, налив пиалу до половины, поставил перед Лопатиным.

Он делал все это традиционно-неторопливо, словно сидел с гостями в узбекской чайхане. После Лопатина налил русскому в очках, Сергею Андреевичу, и последним - себе.

- Пьете зеленый чай?

- Люблю, - сказал Лопатин.

- Я тоже. Ташкентцы больше пьют черный, а мы, ферганцы, - зеленый. Сегодняшнюю сводку слышали?

- Слышал. Хорошая сводка.

- И у нас тоже неплохая. - Юсупов похлопал тяжелой ладонью по лежавшей перед ним на столе пачке листов. - Вчера на двенадцать часов ночи завершили годовой план по двадцати трем видам военной продукции и начали работать в счет будущего года.

На одиннадцати заводах. Из них до войны только один был военный. Четыре переоборудовали, а шесть поставили на пустом месте. Ни от одного эвакуированного завода не отказались, все приняли. А несколько сами забрали. Когда эшелоны с оборудованием на станции Арысь скопились. Знаете Арысь?

- Знаю, - сказал Лопатин.

- Оттуда налево - к соседям, а направо - к нам. Пока соседи колебались, могут ли принять, мы забрали все направо - к себе.

Объяснили, что у нас теплей! Дольше можно на станках под открытым небом работать, прежде чем крышами накроем. - Он довольно усмехнулся, как человек, тогда, прошлой осенью, удачно перехитривший кого-то. - Понял из ваших очерков, что вы там, в Сталинграде, были на заводах, на Тракторном и "Красном Октябре". Так?

- Был.

- А сегодня у нас побудете. Есть у нас завод, на котором выпускаем мины для "катюш". Выдал две тысячи шестьсот мин сверх годового плана. Там через час начнется митинг, попросим вас поехать рассказать о Сталинграде. Выступите вы и Герой Советского Союза сержант Турдыев. Он здешний, у него на этом заводе жена и сын работают. Не слышали о нем в Сталинграде?

- Слышал, - сказал Лопатин, вспомнив фамилию разведчикаузбека, считавшегося погибшим. - Значит, он не погиб?

- Не погиб. Отдыхает здесь после госпиталя. Он по-узбекски расскажет, а вы по-русски. Хоп?

- Турдыев и по-русски неплохо рассказывает, - сказал

молчавший до этого Сергей Андреевич.

- Может и по-русски. Это у него еще интересней получается, - усмехнулся Юсупов. - Он первый герой-узбек, который к нам после госпиталя приехал, мы обедать не пошли, ждали, когда его прямо с поезда сюда привезут. Сидел на вашем месте и рассказывал нам, как в Сталинграде "языков" таскал. Такой же здоровый, похожий на меня. Только с большими усами. - Юсупов показал, какие усы у этого Турдыева. - Не только немца - буйвола может на спине притащить. Спрашиваю, как ты, Турдыев, там, во взводе разведки, - один узбек, все остальные русские, как с ними жил? Отвечает: "Хорошо жил. Узбек - узбек поругается, уже война кончится - помнить будет! Русский - узбек поругается, пять минут прошло, говорит: "Юлдаш, закуривай", - уже все забыл!

Русский человек хороший", говорит. Спрашиваю: какая у тебя там работа была, в разведке? Тяжелая? "Очень тяжелая, - говорит. - Восемьдесят - сто килограмм - очень тяжелая". Я сначала не понял, почему восемьдесят - сто килограмм? Объясняет: "Иногда, бывает, такой тяжелый попадается, волокешь язык - тяжелый язык!"

Юсупов рассмеялся, и, когда он рассмеялся, Лопатин увидел, какие у пего набрякшие подглазья. Забавное воспоминание было всего-навсего минутой отдыха среди бессонной, невпроворот, работы. Его лежавшие на полированном гладком столе большие рабочие руки тоже показались Лопатину в это мгновение усталыми, отдыхающими. И он вспомнил, что этот человек, ставший секретарем ЦК, в молодости был грузчиком на хлопковом заводе и таскал на своей широкой спине шестипудовые мешки. Когда-то начинал жизнь с этого.

- Сегодня утром были ваши товарищи с киностудии, просили лес для постройки декораций. Но мы им столько леса, чтоб Сталинград построить, дать не можем.

- Да этого и не нужно, - сказал Лопатин. - Только два блиндажа надо построить, чтобы было правдоподобно.

- Вижу, плохой вы дипломат, - улыбнулся Юсупов, - Подводите своих товарищей! Но немного леса все равно дадим, раз обещали... Отсюда послезавтра на Кавказ?

- Да.

- Недавно наша делегация с подарками туда ездила. Там старый наш земляк армией командует.

- Я знаю, Ефимов, - сказал Лопатин.

- Правильно, Ефимов. Откуда знаете?

- В начале войны был у него в Одессе.

- А здесь не бывали?

- Пет.

- Жаль. Его здесь до войны тоже интересно было видеть.

Много лет здесь служил. Каждый наш обычай знал. Мог с красноармейцем на его языке говорить - с узбеком, с киргизом тоже, с туркменом тоже. По-таджикски не говорил, правда, но понимал.

Один раз спросил его: "Иван Петрович, откуда время берете - столько всего понимать?" Ответил мне: "Обязан все понимать по долгу службы". Неправду о себе сказал - не только по долгу службы! Очень умный, очень партийный человек. Не все так хорошо, как он, понимают! Принимал нашу делегацию у себя в армии, спросил у них, как здоровье, как доехали, сначала по-русски, потом по-узбекски. Думаете, этого не знают? Уже в каждом кишлаке знают! Когда посылали подарки, советовались со стариками, что послать. Кишмиш, урюк послали, кисеты женщины сшили из хан-атласа. А Ивану Петровичу несколько дынь послали зимних, хорезмских. Он дыни любит. Поспорили со стариками из-за халатов. Мы говорим: зачем на фронте халаты? А они говорят: как мы без халатов поедем? И оказались правы. Привезли сто халатов.

Иван Петрович вызвал из частей снайперов и роздал им халаты.

Там, на Кавказе, полушубков нет, а снег есть. Снайперы укоротили халаты и под шинели поддели. Передайте, если увидите, Ивану Петровичу салям! От Усмана Юсупова.

На столе зазвонил телефон, и Юсупов поднял трубку.

- Я. Да, второй день жду, когда перестанете от меня скрываться... сказал он злым голосом и остановился, не захотел продолжать при постороннем. - Подождите у трубки. - Положив трубку на стол, Юсупов поднялся и, снова, как при встрече, округло, двумя руками пожал руку Лопатину. - Жаль, что так быстро уезжаете. Помните, как Маркс говорил про эксплуататоров?

Эксплуататоры находят такие возможности для эксплуатации, которые не подскажет самый изощренный ум, а только бытие! А из нас, оказывается, плохие эксплуататоры. Слишком поздно про вас узнали!

Он сделал несколько шагов, провожая Лопатина, и, улыбнувшись, прижал руку к груди. Но улыбка далась ему с трудом. Он был уже во власти других чувств.

- Поехали на завод, - коротко, даже поспешно сказал Лопатину Сергей Андреевич.

Они пошли через длинный кабинет к дверям, а Юсупов вернулся к телефону. Лопатин невольно оглянулся. Юсупов шел к телефону медленно, по в его мягкой тяжелой походке

чувствовалась сдерживаемая ярость. И последние его слова, которые услышал Лопатин, выходя из этого кабинета, начатые таким же, как походка, медленным от ярости голосом, посреди фразы перешли в крик:

- Ожидаете от меня, что соглашусь покрывать ваши безобразия? Побоюсь за свою шкуру? Не побоюсь! Будем судить! Судить будем как дезертира!

- Крут Усман! Но и ноша на плечах тяжелая, - сказал Лопатину Сергей Андреевич, пока они шли по коридору ЦК. - До войны было нас пять секретарей, а сейчас двенадцать. И на всех работы хватает. За полтора года войны приняли по эвакуации больше миллиона человек. И всем нужна крыша, а новой крыши - ни одной, кроме заводских. Да еще эта зима подгадила, потребовала топлива вдвойне против расчетного. Выдаем уголь только на производстве, по талонам, и в мизерном количестве. А многие гузапаей топят. И ее почти всю сожгли. Знаете, что такое гузапая?

- Стебли хлопчатника, если пе путаю.

- Не путаете. Раньше в городе никто об этом и не подумал бы, а сейчас в снопики вяжут и на базаре торгуют. Да еще дерут за них.

- А вы сами давно здесь? - спросил Лопатин, когда они вышли на улицу и сели в машину.

- Два года.

Сергей Андреевич вынул платок и, сняв очки, протер их. Без очков его лицо показалось Лопатину совсем молодым.

- Сколько вам лет? - спросил Лопатин. - Если не секрет.

- Какие секреты от корреспондентов, тем более военных? Возраст призывной - тридцать. И на действительной был и по ВУСу - числюсь полковым комиссаром запаса. Но здесь у нас не та работа, чтобы с нее отпрашиваться: не хочу эту, хочу другую!

Могут не понять. - Сказал о себе и своей работе без малейшего оттенка того извиняющегося тона, в который впадают люди, желающие уверить, что они рвутся на фронт - только пусти их! - Забыл спросить, какая-нибудь помощь от нас до вашего отъезда требуется?

- Да нет, спасибо. Все в порядке. Хотя... - Лопатин запнулся; было неловко просить о такой вещи секретаря ЦК, но он все-таки попросил: - Если бы можно было достать два-три ведра угля...

- Для ваших хозяев? Вы у кого остановились?

Лопатин сказал, что остановился у Вячеслава Викторовича, и объяснил, для кого нужен уголь, добавив, что, может, его просьба не по адресу...

- Как раз по адресу, - сказал Сергей Андреевич. - Кто же еще

вам полмешка угля даст, когда его и по талонам кот наплакал? - Он вынул блокнот и записал фамилию и адрес "лопуха". - А как ваш хозяин, Вячеслав Викторович, живет? Он давно у меня не был.

- В каком смысле? - спросил Лопатин, подумавший сначала, что речь идет об устройстве быта, и не любивший клянчить ни за себя, ни за других, если считал этот быт сносным. А у Вячеслава он был сносным.

- Конечно, не в бытовом, - сказал Сергей Андреевич. - В бытовом, знаю, - сыт. Чтобы такие, как он, были по нынешнему понятию сыты, сделали все, что могли. В душевном смысле спрашиваю.

- В душевном - средне, - сказал Лопатин.

- Почему средне?

Лопатин коротко объяснил, стараясь не уронить Вячеслава в глазах этого человека, который, очевидно, был и будет причастен к его судьбе.

- Понятно, - сказал Сергей Андреевич. - Хотя другой человек на его месте мог бы и не мучиться. Не так уж он здоров и молод, чтоб непременно быть на фронте. А здесь у нас старается делать все, что может. И печатается, и выступает, и откликается на все просьбы. Даром свой тыловой хлеб не ест. Но душа есть душа, вы правы. Что чужая душа - потемки, неверно. Но и со своим аршином в нее лезть нельзя.

Он сказал о Вячеславе так, что Лопатин вдруг подумал: а может быть, его собственные мысли про Вячеслава - что с ним непременно нужно что-то сделать - неверные мысли? Почему с ним нужно что-то делать? И все-таки нужно! Потому что он сам все равно чувствует себя несчастным, что бы там ни говорили о нем другие люди...

- Сейчас этот пустырь минуем, повернем, и начнется завод, - Сергей Андреевич вдруг счастливо, как-то по-детски улыбнулся. - Вчера с Алексеем Николаевичем Толстым ездил на авиационный.

Всегда, когда дела позволяют, стараюсь с ним съездить, если он где-то выступает. Глубоко неравнодушен к нему со школьных лет.

Я же еще молодой, первую часть "Хождения по мукам" в шестом классе школы прочел. Вот у кого действительно - русский язык!

Заслушаешься, когда выступает! Вроде по должности уже и не к месту, а продолжаю робеть перед писателями, перед вашей недосягаемой для меня профессией.

Машина остановилась. Лопатин увидел через стекло длинную, припорошенную снегом саманную стену и

примыкавший к ней саманный барак с надписью: "Проходная".

- Вот и приехали, - сказал Сергей Андреевич. - Год назад тут еще огороды были...

После митинга Сергей Андреевич дал Лопатину машину доехать до киностудии, а сам вместе с Турдыевым остался еще на заводе. И Лопатин был рад, что едет обратно один и дорога до киностудии длинная - через весь Ташкент.

Бывают люди, которым, чтобы выйти из состояния душевной потрясенности, нужно говорить самим и слушать других. Лопатин не принадлежал к их числу.

Когда с ним происходило что-то важное, ему надо было сначала перемолоть это в себе самом, не слыша ни собственного, ни чужого голоса. Так было и сейчас. После всего увиденного им там, на заводе, он чувствовал себя человеком, на плечи которого вдруг во второй раз свалилась война, еще одна, вторая война, на которой все другое, свое, но все равно война, со своим сорок первым, со своим сорок вторым...

Все, с чем он до сих пор сталкивался во время этой первой за войну тыловой поездки, - и беда Вячеслава, и расспросы актрисы, хотевшей сказать со сцены правду о войне, и готовность режиссера работать, не считаясь с болезнью, - все это, хотя и не теряло своего значения, было всего-навсего малой частью той, как он, может быть, нелепо, мысленно называл ее, второй войны, происходившей здесь, на этом заводе, на этом вдруг увиденном им поле боя, которое, как на фронте: пока не увидал его своими глазами, все равно не поймешь, какое оно, хотя и до этого и слыхал, и знал, и вроде бы удивляться нечему...

Он ехал с завода, сохраняя в себе самое главное - это чувство.

А цепкая профессиональная память пока выхватывала только подробности, то одни, то другие. Усатое веселое лицо Турдыева, который рассказывал о войне с такой выпиравшей из него силой жизнерадостности, словно он все еще не мог привыкнуть к тому, что жив, после того, как его, в сущности, уже убили. И это же усатое лицо, вдруг состарившееся, залитое слезами, когда он вспомнил, как два километра тащил на спине от немцев своего раненого напарника, какого-то Васю, и дотащил, и уже в окопе положил на снег, и перевернул глазами вверх - а он мертвый. И лицо женщины, слушавшей это, стоя совсем близко, перед большим продольно-строгальным станком, со станины которого они говорили, лицо, искаженное ужасом, словно ей вдруг показали "похоронку"

на мужа. И другие лица - русские и нерусские, худые, грязные, закопченные. И внезапно вспыхнувшее воспоминание о шеренге, построенной там, в Сталинграде, под волжским откосом,

из остатков получавшего гвардейское знамя полка, где были тоже усталые, тоже и русские и нерусские лица. И хотя там, в Сталинграде, были одни мужские лица - а здесь и женские и детские, - все равно это вспомнилось. Не по сходству, а по какому-то более глубокому чувству общности между тем и другим. И в конце митинга директор завода - высокий молодой генерал, подхвативший под мышки и приподнявший так, чтобы их все увидели, двух совсем маленьких, тощеньких подростков, и его осекшийся хриплый голос: "Вот они, наши герои, сверх плана..." Голос человека, который хотел сказать что-то еще, но испугался себя, своего дрогнувшего голоса... И тапочки-самоделки из брезента и кусков автомобильного ската на ногах у женщин. И заледенелые горы стружки во дворе на выходе из цеха. И курганы шлака до крыши литейной.

И перед митингом шепот на ухо хмурого пожилого человека, парторга: "Хотя и холодно, скиньте полушубок, пусть видят". И после первой секунды недоумения, почему скинуть, - собственное чувство, что ты вправе говорить здесь не потому, что ты корреспондент или писатель, а потому, что был в Сталинграде и у тебя Красное Знамя и нашивки за ранения, и для этих людей сейчас, здесь, это намного важней всего остального, бывшего до сих пор во всей твоей жизни...

- Ну, какое представление составили себе об Усмане? Мужик из ряда вон выходящий, верно? - спросил режиссер, когда Лопатин вошел в монтажную.

- Составлять представление за пятнадцать минут не берусь.

А ощущение... - Лопатин хотел было сказать, что главное ощущение от встречи с Юсуповым то, что этот человек там, на своем месте, показался ему необходимой частью войны. Но, подумав, не сказал. Не хотелось говорить лишних слов. Ответил коротко: - В общем, понравился. Давайте работать.

- Где же вы пропадали, если были у него всего пятнадцать минут? недовольно спросил режиссер.

Лопатин объяснил, где он был.

- Мы один раз снимали на этом заводе, - сказал режиссер. - Массовку для киносборника. Пока снимали, в суете не поняли, а когда сами же посмотрели на экране, как все это выглядит - и обстановка на заводе, и люди, - даже не стал спорить, когда мне сказали что эти кадры не для картины, пусть полежат. На экране все сразу наружу вылезает, вся тяжесть происходящего: смотреть - сил нет! Вот вы побывали на заводе, увидели своими глазами. Режиссер подвинулся вместе со стулом, освобождая рядом с собой место Лопатину. - И теперь лучше поймете мое чувство.

Вот здесь, за этим столом, при вас даю сегодня зарок:

доделаю нашу с вами короткометражку, а потом - пусть гром и молнии! - пока сам хотя бы ненадолго не съезжу на фронт, не стану больше делать лент о войне! Не смогу!

- Давайте работать, - повторил Лопатин.

13

- Пожалуй, к вечеру-то потеплело, - сказал режиссер, когда они вместе вышли на улицу. - Или мы так в нашей мечети намерзлись?

- Нет, действительно теплее, - сказал Лопатин. - Даже люди по-другому идут, чем утром.

- Значит, передать моей беспризорнице, что честно, но зря употребил все усилия привести вас к нам на Новый год?

- Выходит, так. Спасибо.

- Из спасибо шубы не сошьешь. Пошли бы к нам, глядишь, я б из вас еще и на Новом году что-нибудь нужное вытянул. Завтра-то - последний день!

- Да, завтра - последний день...

- Закончим, - сказал режиссер. - У нас с вами другого выхода все равно нет. Встретимся завтра ровно в десять. За последние сорок дней на фронте так все вверх тормашками перевернулось, что с радости выпить, конечно, хочется! Но все же не перебирайте! Вы на трамвай?

- Да.

- А я потопал к себе. - Он протянул руку Лопатину. - С наступающим вас! - И уже хотел идти, но задержался. - Подумайте сегодня, на Новом году, как бы наделить в нашем фильме людей теми чувствами, которые сами сейчас испытываем. Фильм-то выйдет самое раннее в марте; к этому времени, наверно, уже и Донбасс будет свободен, и Ростов! А у нас с вами только о том, чтоб ни шагу назад! Вас не беспокоит, как это будут смотреть?

- Не беспокоит. У нас в фильме - октябрь месяц. Еще и речи нет о наступлении. Как же людям дать чувство того, о чем они еще не знают?

- Ну не чувство - предчувствие, - сказал режиссер.

- Ив предчувствиях надо знать меру. Наделить всех предчувствиями победы - самое простое. У кого-то они были, у когото их не было. Если всех наделить предчувствиями, будет неправда. Не было этого в октябре. Настроение стоять до конца было, а этого не было.

- И все же не упрямьтесь, подумайте.

- Ладно, подумаю, - сказал Лопатин. И пошел к трамваю.

Шел, думая о своих корреспонденциях. Кто их знает, как они будут выглядеть вместе, если когда-нибудь, после войны,

доведется собрать их в книгу? В одной - одно настроение, в другой - другое. В одной отступаем, в другой стоим, в третьей наступаем... Какая же еще между ними связь, кроме самого хода войны?

- Василий Николаевич, да остановитесь же наконец! Никак вас не догоню, - услышал он за спиной женский голос. И обернулся.

Перед ним стояла Нина Николаевна, в ушанке, валенках и перепоясанной офицерским ремнем цигейковой шубе. Несмотря на шубу, она казалась тонкой может быть, из-за этого туго перехватившего ее талию широкого ремня. В одной руке она держала кошелку, а другую, без варежки, протягивала Лопатину.

Лопатин пожал ей руку, отпустил и стоял перед нею, не зная, что делать, радостно глядя на нее. Что бы там ни сказал Вячеслав о человеке, который при ней состоит и который будет с нею на Новом году, а все равно и весь день вчера, и весь день сегодня ему хотелось ее увидеть. Даже когда не думал о ней - некогда было думать, - все равно хотел видеть. Так это было, и ничего с этим не сделаешь.

Она сунула руку в карман шубы. И вторая рука тоже была в кармане. Свою кошелку - Лопатин не успел заметить когда - она продела под локоть и теперь стояла, засунув обе руки в карманы, и с каким-то вызовом смотрела на Лопатина, Потом спросила:

- Вы рады видеть меня?

- Рад.

- И я очень рада. Это я руки в карманах так гордо держу - для независимости. Я вообще люблю ходить руки в карманы. А на самом деле очень рада вас видеть и уже давно вас жду. Сначала на студии, в коридоре, мерзла, ждала. Я тут свой человек: они нам в театр дают разную одежку, а я им - нашу театральную - для съемок. Ждала вас, пока не прошли мимо со своим режиссером. Не хотела при всех общаться. Выскочила вслед за вами, а вы вцепились друг в друга и говорите, и говорите, насилу дождалась. Совсем меня заморозили!

- Откуда вы и куда? - невпопад спросил Лопатин, продолжая стоять перед ней.

Она улыбнулась беспомощности, с которой он это спросил.

- Откуда? Я вам уже сказала: со студии с вашей; дожидалась вас тут. Сначала придумала себе на сегодня дело, которое могла сделать и в другой день, а потом, сделав его, дожидалась вас.

И вчера и сегодня все время хотела вас видеть. А куда? Вы-то сами куда?

- Я хотел на трамвай, ехать к Вячеславу Викторовичу. Я все эти дни у него.

- Вот и хорошо, - сказала она. - И мне почти туда же. Только не на трамвае. Хватит у вас пороха пешком - тут часа полтора?

- Пороха хватит. Только б вы не замерзли!

- Ничего со мной не случится - не замерзну и не растаю.

Пойдемте. Я больше люблю за руку, чем под руку.

Она надела варежку и протянула ему руку.

- Давайте вашу корзинку, - сказал Лопатин.

- Не надо, сама понесу. Она ничего не весит - в ней только два дамских счастья, которые надо еще до Нового года занести по назначению. Одно укороченное, а другое - надставленное, потому что лежали у хозяек с разных времен. Одно с длинной моды, другое - с короткой. А в талии оба пришлось убирать. Худеют женщины.

Она на ходу повернула лицо к Лопатину.

- Кого-нибудь за эти дни спрашивали обо мне, да?

- Спрашивал.

- Сразу поняла, когда вы не удивились моей болтовне про платья. И что костюмерной заведую и что дамочкам шью - все вам доложили, да? У кого спрашивали?

- У Вячеслава Викторовича.

- Это мне повезло. Он добрый человек. Ну и что он вам еще сказал обо мне, кроме того, что я портниха с высшим образованием?

- Сказал, что с вами живут мать и сын, что вы их сами содержите и что он не знает, кто был вашим мужем.

- В общем, верно. И это все, что он вам сказал про меня?

- Нет, не все.

Она несколько шагов прошла молча.

- Так вот, Василий Николаевич, на Новом году у вашего друга я не буду. И пришла для того, чтобы вам это сказать. Потому что много думала о вас эти два дня и почему-то верила, что и вы тоже хотите меня видеть, и надо вас предупредить, что я не буду.

А всех других предупреждать необязательно, обойдутся. И выходит, что я вас сейчас провожу до вашего друга и пойду там по соседству по своим портняжным делам и больше мы с вами в этом году уже не увидимся. Только в будущем, если вы этого захотите.

- Захочу, - сказал Лопатин, - но я послезавтра утром уезжаю.

- Неужели послезавтра? А я почему-то считала, что позже.

Спрашивала Соню, монтажницу, и она сказала, что вы будете работать до второго.

- До второго - в том смысле, что второго уже уеду. Дальше, - Лопатин запнулся. Что-то помешало ему сказать "на фронт", и он сказал вместо этого "дальше".

- А я подумала, что вы будете до третьего, раз работа до второго. Вот как все глупо, - сказала она печально. - Мне легче было решиться не видеться с вами на Новом году, пока я думала, что еще два дня впереди. Ну да все равно, я уже решила.

Сказала эти последние слова уже не ему, а себе. И кивнула сама себе подтвердила. Потом остановилась и спросила:

- Я-то в валенках, а вы в сапогах. Вам-то не холодно?

- Ничего, я на два шерстяных носка. Да и не так уж тут холодно.

- А портянок не носите?

- Не ношу. Так и не научился подвертывать.

- Мой муж тоже носки носил, хотя им портянки выдавали, но они бабушке на тряпки вручались. А ремень остался с довоенного времени и, как видите, пошел в дело.

Может быть, она ждала, что он спросит ее о муже, но Лопатин не спросил, шел молча, продолжая держать ее за руку.

- Владелец ремня жив и здоров, служит в армии, но пока не воюет, пока на Дальнем Востоке, - сказала она, пройдя несколько шагов. - Уехал в начале сорокового года отсюда, из Среднеазиатского округа, туда строить, как я понимаю, укрепления - он военный инженер. Предполагалось, что обживется там, на месте, и вызовет семью. А потом не вызвал, дал мне вольную. А я в свою очередь ему. С тех пор мы здесь сами по себе, а он там сам по себе.

- Женился?

- В конечном итоге женился. После того как я вместо заявления в партбюро написала ему, что может на все четыре стороны... Война как-то сгладила, а тогда была ужасно зла. Не люблю, когда водят за нос. Разные бывают "жди меня!", бывают и такие.

Вы, по-моему, правдивый человек?

- По-моему, да, - сказал Лопатин. - В принципе, да.

- Так вот, объясните мне, как это там у вас на фронте происходит; одной рукой письма домой, а другой... Только не думайте, я очень хорошо понимаю и даже знаю, что здесь у нас истосковавшиеся, исстрадавшиеся да просто иногда готовые с ума спятить от одиночества женщины часто возводят напраслину на тех, кто там, на фронте... И все-таки там очень много всего этого, разве пе так?

- Не так, - сказал Лопатин.

- А как?

- А так, что я, например, почти не сталкивался с этим. Оговариваюсь, не знаю, во время затишья и в тылах, может быть, всего этого больше и даже гораздо больше. А когда бои - кто

может этим заниматься? Кому до этого? Бывает, конечно, но я очень редко видел, чтоб людям на передовой и поблизости выпадало на долю такое счастье, очень редко.

- А вы все-таки считаете это счастьем?

- Все-таки считаю счастьем. В исполнении желаний, если они обоюдные, все-таки всегда есть доля счастья.

- А как у вас у самого за полтора года войны бывало с этой долей счастья?

- На фронте - никак. Никогда и никак. Не так все это на фронте, понимаете вы, не так, как думают здесь ваши исстрадавшиеся женщины, о которых вы говорите.

- Не мои они, а ваши! И не нам отсюда, а вам оттуда надо думать, как сделать, чтобы они с ума не сходили. Отпуска бы, что ли, хоть какие-нибудь придумали, чтоб знали твердо, что раз в год, на неделю, приедут к ним! Господи ты боже мой, иной раз Душа болит, когда говоришь с такой несчастной женщиной, которая наслушалась всего про всех и ругает своего мужа чуть ли не последними словами, что он и такой и сякой, а душа у нее трепещет от сладкой надежды, что у нее-то, у нее-то все будет не так, как говорят про других! И утешаешь ее и успокаиваешь. А сама думаешь про свое собственное: и никакой войны еще не было, и всего полгода-то и пробыл там, на Дальнем Востоке, один, без меня...

Так, может, я лгу, когда других успокаиваю? Вот почему и вас спросила не из-за себя, а из-за других. Для меня-то, к счастью, вся эта история еще до войны прокрутилась, быстро, как в кино.

И кончилась. И я иногда думаю, слава богу, что до войны, а не во время, обиднее было бы! Я рада тому, что вы мне сказали. Рада, что не так уж лгу, когда кого-то утешаю. И поймите, когда про фронт сплетничают, говорят пакости - если люди мало-мальски хорошие, - это все у них только сверху! А поскрести - под этим такая вера, надежда и любовь...

- Как-то вы странно, все не с того конца начали, поэтому и разговор получился немножко нелепый, - сказал Лопатин.

- Конечно, нелепый. Думала, что спросите меня про мужа, а вы не спросили, пришлось самой рассказывать. А когда рассказала, стало неловко, не по себе. Вот так неуклюже и перешла на общие темы. Слава богу, что как-то выбрались из этого! Я позавчера сидела около вас, и слушала все, что вы говорили, и, конечно, наблюдала за вами. Мне сначала казалось, что вы должны были злиться, сидя там, у Ксении. Согласитесь, в общем-то, положение ваше было глупое.

- В общем, соглашаюсь.

- И вам надо было злиться на себя, что вы пришли. А вы не

злились. Вы ее что, совершенно разлюбили?

- Видимо, так.

- А когда поняли это?

- Вот позавчера и понял. И что не злился, вы правы. А не злился еще и потому, что было интересно говорить с Зинаидой Антоновной. Для меня это был неожиданный подарок. А тут еще вы сидели рядом и меня слушали.

- Да уж чуть в ухо не дышала, - рассмеялась она. - Старалась обратить на себя ваше внимание, но ничего не получалось. Все внимание только нашей Зинаиде Антоновне, больше никому. А я, если хотите знать, сама туда хожу только из-за нее. Она всегда умная, и с ней всегда интересно. И как-то легко, хотя и непросто, потому что ей палец в рот не клади! Люблю умных женщин.

- Я тоже.

- Я еще и сегодня должна найти к ней на четверть часа и думаю об этом с удовольствием. Изобрела ей новый накладной, очень красивый воротник на ее старое платье, надо только подшить - он у меня тоже тут, в кошелке, - но я уже заранее знаю, что, пока буду подшивать ей воротник, она за пятнадцать минут наговорит мне кучу умных вещей. РТногда даже хочется записывать такие интересные вещи она говорит! Грех, что их никто не записывает!

- А новый воротничок, который вы ей изобрели, при всем том имеет, однако, существенное значение? - улыбнулся Лопатин.

- . Конечно! Она там сидит, ждет меня, а как же? Разве вы позавчера не заметили, как она хорошо была одета? У нее всего дветри вещи, но все хорошие, со вкусом.

- Как-то не заметил, - сказал Лопатин. - Даже не подумал об этом.

- Вот так и всегда, - рассмеялась она. - Как умная женщина, так сразу перестают замечать, что на ней надето. А на мне что было надето, заметили?

- Заметил позавчера. А что в поезде - не помню.

- В поезде было холодно, - сказала она. - И я совсем о другом думала. Иногда думаешь о том, что на тебе надето, а иногда не думаешь. И наверное, когда думаешь об этом, то и другие больше замечают. А когда сама не думаешь, то меньше... Очень устала за эти дни. И в театре было много работы, и дома. Уезжала к отцу, все бросила, а наобещала к Новому году много. Пришлось все эти ночи строчить и перекраивать... Война войной, но как принято у портних говорить про всех других женщин - дамы, не только перешивающие, но и шьющие к Новому году, все-таки есть. Больше, правда, перешивающих. Устала, а тут еще вы со своим проклятым режиссером никак не появляетесь. Даже задремала,

чуть со стула не свалилась там, в коридоре, пока вас ждала.

Она тихонько пожала ему руку и мимолетно улыбнулась.

- Может быть, сядем на трамвай? - спросил Лопатин.

- Из-за того, что я устала, да?

- Да.

- Пойдем. Идти я никогда не устаю. Если бы мы раньше вышли, я бы три часа с вами проходила, а не полтора. Скажите, вот вас занесло на этот Новый год в Ташкент, а в прошлый Новый год где вы были?

- На фронте.

- Расскажите, как это было?

- Никак не было, - сказал Лопатин. - Прошлый Новый год я проспал.

- Как так проспали?

- Очень просто. Полетел тридцать первого из Москвы на юг, чтобы поспеть написать о нашем десанте в Керчи, но до места не долетели, сели по дороге на вынужденную, на полевой аэродром.

Немного подломались при этом. В самолете намерзся, пока садились натерпелся страху. Там, где приземлились, нашлись, как водится, добрые люди, накормили, отогрели и приткнули спать, обещали поднять перед Новым годом. Не знаю, уж как там было:

не растолкали - я накануне ночь не спал - или забыли, но проснулся на рассвете уже в сорок втором году. Рассказ неинтересный, но выспался здорово.

- А я не люблю интересных рассказов, - сказала она. - Когда особенно интересно рассказывают, мне всегда кажется, что при этом придумывают. А вы рассказали, и я чувствую, что все так и было. Кто же станет придумывать, что он Новый год проспал?

- А, чего только люди не придумывают! - сказал Лопатин. - Иногда такое сами на себя наклепают - неизвестно, что потом делать. Один фотокорреспондент в пьяном виде, хвастаясь, какой он находчивый, рассказал о себе, что въехал зимой в освобожденную деревню, когда трех казненных немцами партизан только что сняли, веревки обрезали. И как он заставил, чтобы эти мертвые тела опять на несколько минут подвесили, чтобы он мог сделать снимок. Чуть под горячую руку не попал за этот поклеп на себя под трибунал за кощунство. Хорошо, что я был с ним и знал, что не делал он этого, не было ничего подобного!

- Все равно свинья, - сказала она, вдруг остановившись.

- Конечно, свинья, - сказал Лопатин. - Наврал на себя в пьяном виде, но, значит, где-то в башке у него все же гнездилось.

Если бы не гнездилось, так и на язык бы не попало. Дал ему по роже за это вранье и никогда больше с ним не ездил.

Она как-то неуверенно посмотрела ему в лицо. Наверное, до этого считала, что он не способен дать по роже. Он уже не впервые в жизни сталкивался с этим заблуждением.

- А что на самом деле сделали с этими людьми, снятыми с виселицы?

- На самом деле сфотографировали их там, как они лежали, на снегу, а потом зарыли в братской могиле. Этого уж мы не видели, дальше поехали.

- А эти трое, они были мужчины? - Она задала вопрос осторожно, словно боясь прикоснуться к этому.

И он понял, что ей стало страшно от мысли, что это могли быть женщины.

- Эти трое были мужчины. Снятую с виселицы женщину я тоже видел, но в другом месте. Вот это уж совсем невозможно простить, никак! Это так навсегда и останется неотомщенным.

- Почему останется неотомщенным? - не поняв, спросила она.

- А как это может быть отомщено? Что ж, мы придем в Германию и будем там женщин вешать?

- Я понимаю, - сказала она после молчания. - А все-таки после всего, что даже здесь знаешь о войне, после всего, что они сделали, как-то странно подумать, что не все может быть отомщено. Мне никогда до сих пор не приходило это в голову.

- А я, наоборот, много думал об этом, - сказал Лопатин. - Особенно после поездки, про которую вам рассказывал, - что проспал по дороге Новый год, - когда был потом в Керчи и видел там за окраиной города керченский ров. Это не ров, собственно говоря. То есть ров, но противотанковый. А немцы в нем расстреляли несколько тысяч человек и еле-еле присыпали землей, а где и не присыпали. И БОТ я стоял там и думал, что как это ни страшно и как ни требует отомщения, но в нашем сознании, что за такое ты никогда не сможешь и не будешь мстить полною мерою, есть чувство собственного превосходства. И собственной силы, которой ты никогда не воспользуешься так, как они воспользовались. Я говорю не о победе, а о мести: око за око, зуб за зуб - об этом!

- Мой отец ничего не говорил мне о фронте, когда я была там, сидела возле него. Когда ходила там через палаты, слышала, как другие - тоже лежачие, такие же тяжелые, как он, - говорили друг с другом о войне, а он ни слова! Спросила его теперешнюю жену, Зою, - я стала ее там звать Зоей, а она меня Ниной, как-то сразу, обоюдно так вышло, - почему отец ничего не рассказывает о войне, наверное, ему тяжело вспоминать, а она говорит: "Он же ничего не знает! Он же на ней всего полдня был! Они утром заняли окопы, а через несколько часов немцы стали обстреливать,

и его ранило. Он же ничего не знает, ничего не может сказать..." И в этом было что-то такое ужасное для меня - что он, на всю остальную жизнь безнадежно искалеченный человек, даже войны-то не видел, - что я заплакала, когда это услышала. Хотя, в общем-то, какая разница, все равно... И наверное, так со многими, - помолчав, сказала она.

- Конечно, со многими. Если в оборону попадают и сидят на одном месте, даже на переднем крае, все это не так быстро происходит. Сегодня одного ранят, завтра - другого, послезавтра - третьего... А если свежую, еще не бывшую на фронте часть сразу бросают в наступление, то, конечно, после нескольких часов войны и даже после первого ее часа многие обречены на госпиталя; уже везут их в обратном направлении... Может быть, вам позавчера показалось, что я слишком ядовито отозвался об этой актрисе с ее восторгами, - как она пушку за шнур дергала...

- Нет, мне не показалось. Я молчала, но я была с вами согласна.

- Упоение, наслаждение, восхищение - все это не те слова, не люблю словоблудия вокруг войны, - сказал Лопатин. - "До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага" - вот это действительно слова о войне, которые из войны вышли и на войну вернулись песней. И притом самоходом, без помощи радио. По радио какой-то мудрец убоялся их передавать: как бы солдат там, на фронте, не испугался, услышав, что ему до смерти четыре шага!..

- Василий Николаевич. - Она снова остановилась, и он понял, что она снова спросит что-то важное, она уже два раза так останавливалась, когда хотела спросить что-нибудь важное.

- Что?

- Я получила сегодня телеграмму от этой Зои. Пишет, что забрала отца к себе: "Новый год встретим вместе, дома".

- Значит, все-таки уговорила его, - сказал Лопатин.

- Значит, уговорила. Я с утра все думаю над этой телеграммой. Она пишет "вместе", а я знаю от него самого, что он не хочет жить вот так - без рук, без ног, без движения - всю остальную жизнь. Когда я была у него одна, без нее, он мне сказал: "Если б ты знала, как я хочу освободить ее от себя". Это он говорил не о том, чтобы остаться в госпитале, наверное, он и сам понимал, что она в конце концов возьмет его. Это он говорил о смерти, что хочет освободить ее от себя, то есть умереть. Как по-вашему - можно желать смерти близкому человеку?

- Если спрашиваете меня о себе, не знаю, - сказал Лопатин. - Если спрашиваете меня обо мне, я бы мог желать, если бы был убежден, что этот человек сам хочет смерти и не видит другого

выхода. Но это ведь очень трудно до конца понять, хочет жить человек или не хочет; или ему это только кажется, и он сегодня говорит то, чего не скажет завтра. Мы привычно отказываем людям в праве умереть, когда им не хочется жить. Хочет человек жить или не хочет, мы все равно будем делать все, чтобы он жил.

Привыкли думать, что так это и должно быть, хотя иногда приходит в голову: на все ли случаи жизни это правило? На фронте я слышал много рассказов, в большинстве правдивых, о том, как люди, истерзанные тяжелыми ранами, обреченные, которые считают, что им все равно уже не жить, и не хотят мучиться, как они просят своих товарищей, грубо говоря, прикончить их, а если красивее, помочь расстаться с жизнью. Убить, прервать мучения.

И сам один раз своими ушами слышал такую просьбу. Так вот, делают это или не делают, но они никого не удивляют там, на войне, такие просьбы избавить человека от лишних часов или дней мучения. Ну, а если человек мучится не полсуток, а полгода или несколько лет? Не вижу ничего жестокого или неправедного в том, чтобы желать человеку исполнения его желаний.

Желать, чтоб умер, если он хочет умереть. А кроме того, - вы простите меня, речь идет о вашем отце, - но если задуматься над его словами, что он хочет освободить от себя эту женщину, за такими словами стоит многое: не только любовь к ней, но где-то еще и мысль о ней самой, которая при всей ее решимости жертвовать собой одновременно может и хотеть, чтобы он жил как можно дольше, и не хотеть этого. И он в своем положении не может не думать об этом.

- Я, когда уезжала оттуда, сказала ей, что у нас под Ташкентом тоже есть один такой госпиталь. Что, если перевезти отца сюда? Может быть, ей будет легче, если, кроме нее, не мама, а хотя бы я буду ходить к нему дежурить. Она грубо мне на это ответила. И я не осуждаю, она права. "Был здоровый и целый - не делилась им с вами. А теперь, когда остался без рук, без ног, - начну делиться? Что я, б...., что ли, - так и сказала про себя. - Я отняла его у вас, я и буду с ним горе мыкать". И все-таки взяла его к себе. А я вспоминаю, как он говорил мне, что не хочет жить, и хочу, чтобы было так, как он хочет.

Все это время она как остановилась, так и стояла, не двигаясь.

А теперь, спохватившись, потянула Лопатина за руку:

- Идемте. Когда у вас послезавтра уходит поезд?

- В одиннадцать пять.

- А какой вагон?

- Сейчас посмотрю.

Он расстегнул полушубок, достал из гимнастерки билет и чиркнул спичкой, прикрыв ее ладонью от ветра.

- Седьмой.

- Если мы до этого не увидимся, я приду вас проводить.

- Спасибо, - сказал Лопатин, подумав про себя, что его еще никогда не провожала на фронт женщина.

В начале войны он дважды уезжал на фронт, когда Ксения еще не была в эвакуации, но оба раза без проводов. В первый раз она была в таких растерзанных чувствах, что он не взял ее на вокзал, а велел дочери успокоить ее, хотя она потом говорила, наоборот, что осталась из-за дочери. А во второй раз она не провожала его, потому что они поссорились, - кто-то сказал ей, что он мог бы еще на день задержаться в Москве, но не задержался! И никакие другие женщины тоже никогда его не провожали. Эта будет первой за войну, если придет на вокзал.

Она вдруг остановилась возле какого-то дома.

- Василий Николаевич, я совсем обнаглела: хочу оставить вас ровно на пять минут... Надо занести в этот дом платье. Ничего не мерить - только отдать! Подождете меня, потопчетесь немножко?

- Конечно, потопчусь, - сказал он.

Она постучала в выходившее на улицу парадное, ей открыли, и она исчезла за дверью.

14

Засунув руки в карманы полушубка, Лопатин ходил взад и вперед перед парадным, в котором она скрылась, и думал о том, что же это? Все это? И ее приход туда, на студию, и эта прогулка по городу не под руку, а за руку? И то, как она сразу сказала, что не будет сегодня на Новом году, и то, как напросилась провожать к поезду? И самое главное, ее слова о том, как она хотела его видеть и вчера и сегодня? Слова, сказанные так, могли быть одним из двух: или чистой правдой, или самообманом, выдумкой - женщины умеют себе выдумывать несуществующее. Но она не казалась ему человеком, способным на самообман. А обманывать не себя, а его - зачем ей это? Чего ради? Оставалось поверить, что все это правда, что она хотела видеть его и вчера и сегодня, хотя поверить в это было почему-то трудно.

Он-то не обманывал себя! Он, топающий сейчас мимо подъезда, в котором она скрылась, он, в своем полушубке, ушанке, в очках, в сапогах, надетых на два шерстяных носка, он - такой, какой он есть, ходивший здесь взад и вперед, - был влюблен в эту женщину.

Так это было или так это стало за тот час, что они шли сюда по улицам Ташкента. Но как раз поэтому и трудно было поверить, что она тоже и вчера и сегодня хотела его видеть! Слишком уж

неожиданно и слишком хорошо! Просто захотела его видеть, потому что ей было интересно с ним. Это он еще позавчера понял, что у нее есть любопытство к нему, а любопытство тоже чувство, способное толкнуть одного человека к другому!

Он ходил руки в карманы и, как мог, защищался от самого себя, от своего желания поверить, что нет, это не просто любопытство, не просто интерес к приехавшему с фронта человеку.

"Почему она не хочет быть сегодня на Новом году у Вячеслава? Потому что она должна быть там не одна и она знает, что я это знаю, и не хочет быть с ним при мне? И не может быть одна, без него?"

Ну, это все твои собственные объяснения. Она-то не стала ничего объяснять. Сказала "не приду", и все.

Он подумал, что в ее характере есть что-то вынужденно мужское, приобретенная где-то на жизненной дороге решимость вести себя по-мужски. Такую решимость чаще всего воспитывают в себе не очень счастливые женщины по необходимости, из чувства самозащиты.

Он вспомнил, как она говорила, что ее отец бросил мать, когда ей было четырнадцать лет. Четырнадцать! Время, когда дети ничего не прощают, отказываются понимать, что все по-своему правы, и остаются с кем-то против кого-то. Так это было с ней тогда.

Так это и сейчас с твоей собственной дочерью. Так или почти так.

Он подумал о ее отце, которому, наверное, сейчас лет пятьдесят пять или около этого, раз ей двадцать девять, и о себе самом, который всего на десять лет моложе ее отца.

Да, над этим стоило подумать, очень стоило! И он бы, наверное, подумал, но она выскочила из парадного, громко захлопнув за собой дверь, и сразу схватила его за руку.

- Пошли! Я все-таки на две минуты задержалась, вы это заметили?

- Не заметил, - сказал он. - Ходил тут взад-вперед и думал.

- О ком думали, обо мне?

- О вас! Что вы моложе меня на семнадцать лет.

- Посчитали правильно! Я тоже вчера вспоминала вас и сосчитала, что вы старше меня на семнадцать лет. Что дальше?

- А дальше - вы выскочили, хлопнули дверью, и мы опять идем по вашему Ташкенту. Хотя, впрочем, он, наверное, не ваш?

- Нет, как раз мой. Отец с матерью переехали сюда, когда мне было всего два года. С тех пор так и живу здесь - так что мой!

И поэтому живем тут намного легче тех, кто приехал. В своей

квартире, даже, можно сказать, в собственном домике. Точней, в полудомике. Полдомика, построенного отцом, мама продала, когда я училась в институте. А знаете, что я вчера сделала? - Она снова остановилась, как уже несколько раз до этого. - Я вчера вечером у нас в театре, в красном уголке, взяла подшивку и перечла все, что вы написали из Сталинграда. И еще один очерк, самый последний, под ним стоит: "Западный фронт". Но он не такой хороший, мне он меньше понравился...

- Мне тоже.

- Я прочла подряд все эти ваши сталинградские очерки, и мне даже захотелось пойти к вам и сразу спросить о некоторых вещах.

- За чем же дело стало? - сказал Лопатин. - Вернулся вчера в половине десятого со студии, Вячеслава Викторовича не было, и сидел играл сам с собой в шахматы. Вот и зашли бы!

- А вы что думаете, это было бы так просто - зайти к вам?

Совсем не так просто для меня.

- Я пошутил, - сказал Лопатин.

- А я серьезно. Очень много было вчера вопросов к вам, а потом как-то повылетело из головы. Скажите, а когда вам самому там, в Сталинграде, было страшнее всего?

- Когда в первый раз переправлялся.

- Почему? Потому что еще не знали, как все там будет?

- Да, отчасти поэтому. И вообще не люблю воды. Она не земля, на нее не ляжешь. В конце октября, когда пришлось еще два раза переправляться, тоже оба раза боялся. Оказался в дивизии, которую немцы как раз в те дни отрезали от всех других; сидеть в ней было можно, а передавать в Москву ничего нельзя - связь осталась только по радио. Пришлось переправиться с правого на левый берег - в штаб фронта, передать материал с узла связи и снова ехать в Сталинград, уже не в эту дивизию, а на другой участок, где был командный пункт армии и при нем - связь. Два дня, пока писал и передавал свой очерк, провел в штабе фронта, и уже не тянуло обратно через Волгу. Пришлось заставить себя...

- А почему вы обо всем этом ни в одном из очерков не написали?

- Почему не написал? Написал, не удержался! - усмехнулся Лопатин. - Но редактор вырезал это место. Момент был как раз тяжелый, по Волге вот-вот должно было пойти "сало". И он не захотел давать подробностей про наши трудности с переправами.

Потом, в Москве, отдал мне уже набранную и перекрещенную красным карандашом колонку: "На, оставил тебе твои личные переживания для будущих сочинений".

- А я бы, наверно, не только на переправе - я как раз воды не

боюсь, а вообще всегда помнила бы об опасности.

- Ну что ж, это нормально. Я тоже, где бы ни был: и в Сталинграде и не в Сталинграде, всегда каким-то кусочком затылка помню об опасности и боюсь ее.

- Почему затылком?

- Не знаю почему. Может, у других по-другому, а у меня так!

Какое-то чувство, что этот страх у меня не во лбу, а где-то в затылке. Если бы во лбу, он бы больше мешал.

- Вы совсем серьезно говорите со мной или при этом еще немножко и шутите? - спросила она. - Со мной это опасно. Я в таких вещах доверчива до глупости.

- Нисколько не шучу, - сказал Лопатин. - Постоянный страх, верней, память об опасности, сидит у меня в затылке. А внезапный страх - тут уж именно страх, а не память - в минуту действительной опасности вдруг возникает под ложечкой. Такая вдруг пустота, словно трое суток голодал. И всегда так было, не только на войне.

- А как же вы писали про женщину, которая погибла там, в Сталинграде, про связистку, - я прочла весь очерк, и у вас там ни в одном месте нет, что ей было страшно, что она чего-нибудь боялась. Почему?

- Очень просто почему. Потому что нельзя швыряться словом "страх", когда пишешь о войне. Поставь его немножко не там и не так - и оно уже обидное и даже позорное. У меня есть принцип, и я его соблюдаю: если человек, совершивший что-то, о чем я пишу, сам говорит мне о страхе, который он испытывал при этом, я вправе написать с его слов, что он чувствовал. Но если он сам ни слова не говорит о том, как ему было страшно, я никогда не допытываюсь и не додумываю за него, боялся он или не боялся.

Сам человек может сказать о том страхе, который он испытал, а другой за него не имеет права. Это слишком деликатная материя.

И я вот говорю вам сейчас о чувстве страха в затылке или под ложечкой, но это я сам говорю о себе, и за мной остается право сказать это или не сказать - уж как я захочу! Но я бы, например, не хотел, чтобы кто-нибудь написал про меня, что я там, в Сталинграде, писал свои очерки, трясясь от страха. Вы понимаете разницу между словами "мне было боязно" и словами "он испугался"? Между самооценкой и осуждением со стороны.

- Это я понимаю, - сказала она. - Я не понимаю другого.

Как бы я смогла, оказавшись там, на фронте, делать все, что делала женщина, о которой вы писали? У меня такое чувство, что я бы этого не смогла. Не набралась бы мужества делать все то, что делают женщины на фронте. Не только эта женщина, а вообще.

- Когда думаете о фронте и о том, что вы смогли бы там и чего не смогли, никогда не думайте вообще. Ни о фронте, ни о женщинах на фронте. Пребывание на фронте - понятие настолько растяжимое, что иногда об этом забывают, а иногда, наоборот, этим пользуются. Вот вы говорите "женщины на фронте"... Ну что общего между той женщиной на фронте, про которую вы у меня прочли, и другими в ее положении - связистками, санитарками, сестрами, в самом пекле войны: в батальонах, на передовых медицинских пунктах - и тоже женщиной на фронте, ну, скажем, машинисткой в продовольственном отделе во втором эшелоне тыла фронта? И то и другое называется "действующая армия". И то и другое - фронт. И та и другая женщины. Но разве можно говорить и думать о них вообще! А у вас здесь, в тылу? Как можно одинаково, вообще, думать о женщинах, из которых одна уже вдова и мать нескольких сирот, и живет, и работает впроголодь, да еще и кровь отдает, чтобы получать донорскую карточку и подкармливать детей! А другая живет за спиной у прочно забронированного мужа. Разве это одно и то же? Разве можно одинаково говорить про них про обеих, что они там, в тылу? Мы тут, на фронте, а они там, в тылу! Хотя война все время то ломает, то перевертывает что-нибудь и на фронте и в тылу. Муж той машинистки в продовольственном отделе тыла фронта, о которой я сказал, потому что вспомнил реальных людей, - муж ее командовал батальоном, выходил из двух окружений и сейчас жив и здоров и командует полком. А его жена, которую он еще в начале войны в Киеве пристроил машинисткой в этот продовольственный отдел, была вместе с другими раздавлена танками под Богодуховом. И она, и все, с кем она вместе служила, и их грузовики, и автобусы, и их ведомости, и их пишущие машинки - все было там под Богодуховом расстреляно, сожжено, стерто в порошок. Война с людьми шутит такие шутки, что и в сыпнотифозном бреду не приснятся!

- А вы болели сыпняком? - спросила она.

- Болел, когда все болели, в двадцать первом году.

- А я брюшным тифом болела в тридцать третьем, чуть не умерла... Помните, когда в тридцать третьем голод был на Украине? Оттуда и началась эпидемия и сюда к нам докатилась...

- Еще бы не помнить, - сказал Лопатин. И, вздохнув, подумал о том, каких только бед не валилось нам на головы за эту четверть века. И последняя из них - война, от которой он никак не может сегодня отцепиться. Все возвращается и возвращается к ней, хотя, казалось бы, сегодня, в этот новогодний вечер, с этой женщиной, на улицах этого далекого от всех фронтов города естественней было бы говорить о чем-то другом.

Они были уже недалеко от дома, где жил Вячеслав Викторович, и Лопатин, занятый своими мыслями, только мельком, как на вдруг возникшее механическое препятствие, взглянул на шедшего им навстречу и остановившегося прямо перед ними высокого человека. Человек резко остановился и так же резко, метнувшись дальше, остался у них за спиной.

Что-то произошло, но Лопатин так и не понял, что, и вопросительно посмотрел на женщину, продолжавшую идти рядом с ним, держа его за руку.

- Что? - непроизвольно спросил он.

- Ничего, - она повернула к нему свое спокойное лицо. - Думаю над тем, что вы мне говорили. А что? - в свою очередь спросила она.

- Нет, ничего.

Он посторонился, чтобы пропустить двух женщин, несших вдвоем тяжелую кошелку и занимавших весь тротуар, и, посторонившись и взглянув на дом, мимо которого они шли, сообразил, что еще тридцать шагов - и будут ворота, ведущие во двор к Вячеславу.

- Вот мы и пришли, - сказал он так растерянно, что она улыбнулась.

- Если вам нравится со мной ходить, можем в будущем году, завтра, повторить. Я зайду за вами на студию, и мы пойдем пешком до моего дома. Это от студии в ту сторону столько же, сколько мы сегодня шли в эту. Я зайду за вами в семь часов - раньше не смогу из-за работы, - а если вы еще не закончите, подожду вас, как сегодня. А вы отпроситесь у своего Вячеслава на весь последний вечер. Он отпустит, он добрый! Можете сказать, что идете ко мне, а можете не говорить - как хотите! Могу и сама зайти к нему, отпросить вас. - Она улыбнулась.

- Ничего, сам управлюсь, - сказал Лопатин.

Она говорила о завтрашнем вечере, а он думал о том, куда и с кем она пойдет сегодня на Новый год.

Они остановились и стояли у арки ворот. Она отпустила его руку и, посмотрев на него, сказала:

- Я длинная, но вы все-таки выше меня.

- Вы теперь к Зинаиде Антоновне? - спросил Лопатин.

- Да.

- Можно, я провожу вас до нее?

- Нет, - сказала она. - Теперь я уже не пойду, а побегу, все мое время вышло. А бегать я люблю одна! Я провожу вас сама до вашей двери, а потом побегу проходными дворами. Пошли, а то некогда.

Она крепко взяла Лопатина под локоть.

- У вас мужские замашки.

- Самое смешное, что вы правы, - сказала она. - И началось уже давно. Еще когда я училась в институте, я страшно любила платить за наших мальчишек, когда мы ходили куда-нибудь - в театр, в кино - или ели мороженое. Старалась платить хотя бы через раз. До смешного радовалась этому, готова была себе в новых чулках отказать.

Они остановились у двери Вячеслава. Две выщербленные каменные ступеньки и дверь, когда-то обитая клеенкой, от которой остались только застрявшие на гвоздях лохмотья пакли.

"Да, неподходящее место для объяснений", - подумал он и, зная, что уже не спросит этого вслух, все-таки мысленно, впервые не на "вы", а на "ты", спросил:

"А все-таки куда же ты сегодня уходишь от меня? Где ты будешь, пока я буду здесь, за этой дверью?"

Хотя она сказала ему, что ей пора бежать, сейчас она молча стояла перед ним с кошелкой в руках и глядела на него, никуда не торопясь.

- Я рада, что вы меня ни о чем не спросили, - сказала она. - Мне не хотелось сегодня отвечать ни на какие вопросы. Шла с вами и думала: "Неужели что-нибудь спросит?" До завтра. С Новым годом вас!

Она поставила на снег кошелку и вдруг - Лопатин даже не заметил, когда она успела сиять их, - оказавшись без варежек, голыми теплыми руками обняла его за шею и быстро и нежно поцеловала в губы. Еще раз, уже отдаляя свое лицо от его лица, прошептала: "С Новым годом!" - схватила кошелку, повернулась и не пошла, а побежала через двор.

Лопатин несколько раз безответно постучал в дверь и, толкнув ее, вошел в переднюю.

- Это ты, да? - крикнул ему из комнаты Вячеслав. - Заходи, я нарочно не запер, чтобы не отрываться, руки в муке.

Он стоял у стола и раскатывал бутылкой тесто для пельменей.

Сколько его знал Лопатин, это всегда было одно из его любимых занятий.

- Наслаждаюсь, - сказал он. - Давно не лепил! Имею для тебя новости.

- Какие? - подумав о редакции, спросил Лопатин.

- Твоя прекрасная незнакомка Нина Николаевна будет, а ее верный оруженосец только что приходил и забрал свой пай без объяснения причин. Спросил его про нее, будет ли она, и услышал в ответ, что это его не касается! Будет или не будет - ее личное дело! Из чего заключил, что она-то, к его неудовольствию

и к твоему удовольствию, будет. Ну что за мужчины пошли, диву даюсь! - рассмеялся Вячеслав Викторович, продолжая раскатывать тесто. - На морде такая трагедия написана, что впору топиться! А за паем все же не забыл, явился. И мало того, что явился! Когда ему впопыхах не тот коньяк дал, не его, а твой, не проморгал, заметил, что на звездочку меньше! Уже с порога вернулся, чтоб заменил ему. Кое-кто, конечно, будет расстроен сегодня, что он не споет нам романсов по просьбе публики, придется на худой конец мне самому вместо него петь! А в общем, бог с ним, с крохобором! И чего она в нем нашла, кроме голоса?

- Она тоже не будет, - сказал Лопатин.

- Откуда ты знаешь?

Лопатин объяснил, откуда он это знает. И, помолчав, спросил:

- Он что, высокого роста?

- Высокого. А что? Видел его?

- Думаю, что видел, - сказал Лопатин.

Да, конечно, это и был тот высокий человек, который вдруг остановился перед ними и понесся дальше. И кажется, он даже держал что-то в руках. А ничего не пришло в голову про него, наверное, потому, что когда он остолбенело остановился, то рука, женщины, которой она держала тебя за руку, даже не дрогнула.

Если бы дрогнула, ты бы заметил! Нет, не дрогнула. И лицо не переменилось - какое было, такое и осталось. Поэтому тебе и показалось, что ничего не произошло, хотя на самом деле произошло!

- Ну, она-то за своим паем не придет, - продолжая катать тесто, сказал Вячеслав Викторович. - Эта не такая... Да у нее и пай уже необратимый. Вячеслав Викторович кивнул на стол. - Ее мука, а мои - рабочие руки! Придется ради справедливости десятка два заморозить между окнами и завтра ей доставить.

Он вытер руки о белую рубашку, обвязанную вокруг пояса вместо фартука.

- Дай затянуться.

Взял у Лопатина недокуренную папироску, затянулся и отдал обратно.

- Не представляешь себе, как я рад, что будем встречать этот Новый год вместе с тобой. В конце концов, кто еще, кроме нас, будет и кто не будет бог их люби!

15

Чемодан и вещевой мешок Лопатина были уже в вагоне. До отхода поезда оставалось десять минут.

Впервые за все дни в Ташкенте светило солнце. На перроне таял снег, вода капала с вагонных крыш.

Вячеслав Викторович и режиссер разговаривали, стоя у подножки. А сам Лопатин и Нина Николаевна, отвернувшись от поезда и от суетившихся возле него людей, стояли поодаль, на краю платформы, впритык к остановившемуся с другой стороны товарному составу с наглухо закрытыми красными вагонами.

Стояли перед одним из этих красных вагонов, держась за руки, и молчали, словно боясь сказать под конец что-то лишнее, чего уже не надо и нельзя было говорить.

Все, что было с ними обоими с той минуты, как она вчера в семь, как обещала, пришла за ним туда, на студию, все, что произошло с ними вчера вечером, и ночью, и сегодня утром, казалось Лопатину сейчас, здесь, на перроне, перед самым отъездом, таким неправдоподобным, что он продолжал удивляться тому, что все это все-таки было и что эта женщина, рядом с которой он чувствовал себя счастливым, все еще продолжала быть рядом с ним, стояла здесь на платформе, касаясь его плечом и сжимая своей рукой его руку.

- Стою как дурак и не знаю, что сказать вам.

- И я тоже не знаю. Вы напрасно рассердились на меня вчера, когда я сняла с вас очки.

- Я не рассердился, просто я, как все близорукие люди, боюсь за очки. Испугался, что вы их уроните. Без очков какая-то беззащитность...

- Вот именно, - сказала она. - Мне и хотелось поцеловать вас в ваши беззащитные глаза, без ваших умных очков. Сейчас мы будем прощаться, я опять это сделаю и не уроню их, не бойтесь.

Я ловкая, я никогда ничего не роняю и не бью.

Он снял очки и сунул их в карман гимнастерки. Хотя носил их всю жизнь, ему сейчас вдруг стало жалко себя за это.

- Вы теперь до конца войны уже не вернетесь сюда, а я не уеду отсюда. Как же мы с вами увидимся? Никак! Это очень нелепо, но мне кажется, что мы с вами больше не увидимся. И не надо про письма! Я сама уже про них подумала, но нам не надо ничего обещать друг другу. Так хочется обещать, и все-таки не надо.

Воздержимся, ладно?

- От чего, от писем?

- Нет, от обещаний писать письма. Не боюсь ни молчания, ни неизвестности, а обещаний боюсь.

Она потянула его к себе за руку и, обняв другой рукой за шею, несколько раз поцеловала в лицо, а потом потянулась губами и поцеловала в губы. Лицо у нее было печальное, но спокойное.

- Возвращайтесь к своему вагону, а я пойду. Нет, пойду, -

повторила она, когда он попытался удержать ее за руку. - Вам осталось всего пять минут. Идите и прощайтесь с вашими друзьями, а я пойду...

Он задержал и поцеловал ее руку. И она приостановилась с выражением какой-то нерешительности на лице, подняла руку и мягко провела ладонью по его лицу сверху вниз и, отвернувшись, быстро пошла по перрону все дальше и дальше от него.

Продолжая смотреть ей вслед, он поспешно вытащил из кармана очки. Но ее все равно уже не было видно в толпе, заполнявшей перрон.

Он повернулся и пошел к стоявшим у его вагона Вячеславу Викторовичу и режиссеру.

В только что простившейся с ним женщине было что-то самоотверженное, какое-то упорное стремление взять все самое трудное на себя и поменьше оставить на долю другого. И он испытывал чувство щемящей благодарности к ней, смешанное с недоумением и страхом: как это так, не увидеть ее больше? Что за нелепость!

- А где Ника? - спросил Вячеслав Викторович, увидевший, что Лопатин подходит один.

- Ушла.

- Вот за это люблю, - сказал Вячеслав Викторович. - Это настоящая женщина. Пришла, забрала его от нас, увела на расстояние пистолетного выстрела, сказала ему все, что хотела, вернула его нам, а сама ушла. Как и не было! Молодец.

Да, по крайней мере по внешности так все оно и было. Сегодня рано утром, когда он уходил из ее дома, еще раз повторила ему, что придет проводить его, будет у вагона за четверть часа до отхода. И ровно за четверть часа пришла и, поздоровавшись с провожавшими мужчинами, взяла его за руку и увела с собой, а теперь вернула.

Режиссер стоял и улыбался тому, что говорил Вячеслав, а тот смотрел на Лопатина своими добрыми, ничего не спрашивавшими глазами. Так ничего и не спросил, ни у себя дома, пока собирали вещи, ни когда ехали сюда, ни здесь, когда приехали первыми и стояли у вагона вдвоем. И даже теперь, молчаливо, глазами, не спрашивает: "Ну, как все у вас было?" И спасибо за это, потому что не хочется отвечать ни вслух, ни молча, никак!

- Все, что мы с вами перемарали, - сказал режиссер, - сегодня и завтра сам продиктую машинистке: без меня не разберет.

И пошлю вам одну машинописную копию в Москву.

- На редакцию.

- На редакцию. Только не пугайтесь, когда будете

переворачивать страницы. На студии чистой бумаги нет; печатаем на оборотной стороне старых монтажных листов. С одной стороны будет наш с вами сценарий, а с другой - какие-нибудь "Дети капитана Гранта", так что не спутайте! Помогли вы здорово, а что у вас больше нет ни одного дня - к лучшему. Признаться, люблю, когда автор - занятой человек и не сидит над душой. Поедете на фронт, будете там свое дело делать, а я здесь - свое. На свой ответ и на свою голову!

- Только смотрите: насчет противогазов, касок и прочих букв устава вашему военному консультанту больше не поддавайтесь.

- Теперь не поддамся, - сказал режиссер. И обнял Лопатина. - Вам пора, уже зеленый...

Лопатин обнялся с ним и обернулся к Вячеславу.

- Иди, стань на первую ступеньку, - сказал Вячеслав. - А то тронется...

Лопатин поднялся на первую ступеньку и, держась за поручень, видел теперь лицо Вячеслава, глядя сверху вниз, а не снизу вверх, как обычно.

Вячеслав был без шапки. Радуясь солнцу, он снял ее и сунул в карман. Его большая голова с густыми, зачесанными назад волосами отливала серебром. Лопатину только сейчас бросилось в глаза, как сильно он поседел за время войны.

- Когда ты вернешься в Москву? - спросил он, глядя снизу вверх в глаза Лопатину.

- Не знаю, - сказал Лопатин, - у нас никогда этого не знаешь. Будем для верности считать - через месяц-полтора.

- Когда приедешь в Москву, застанешь мое письмо, - сказал Вячеслав Викторович. - Будет тебя ждать.

Лопатин ничего не ответил, кивнул. Если письмо будет написано, значит, оно придет в Москву и будет там ждать. Все, что могли оба сказать, уже давно сказано. И Вячеслав ни одним словом не возвращался к этому. Вернулся только теперь, в самую последнюю минуту.

Состав дернулся и медленно пополз вдоль платформы.

Режиссер остался на месте. Стоял, закинув руки за широкую сутулую спину, и смотрел вслед. А Вячеслав еще шел рядом с вагоном, держась за поручень. Шел, все шире и шире шагая, наконец, оторвав руку, остановился, вытащил из кармана шапку и помахал ею вслед.

Лопатин, не заходя в купе и не раздеваясь, стал у окна в коридоре.

Мягкий вагон был такой же старый, обшарпанный, в каком он ехал в Ташкент. Все было такое же или почти такое же. Не хватало только женщины, которая сейчас выйдет из соседнего

купе, станет у другого окна и будет курить, изредка почему-то, неизвестно почему, поглядывая на тебя.

За окном тянулись окраины Ташкента. Вдалеке низкие корпуса какого-то завода - отсюда не понять - может быть, того самого... Ближе - глинобитные дома и дувалы, а еще ближе, сходясь и расходясь, пересекая друг друга, бежали рельсы.

Лопатин вспомнил, как они шли с секретарем ЦК по заводскому двору вдоль узкоколейной новой ветки и секретарь рассказывал ему, как зимой сорок первого, во время самого большого потока эвакуации, собрали в Ташкенте много тысяч дехкан со своим инструментом - мотыгами и кетменями - и через две недели, сделав новые выемки и новые насыпи, проложили три новые нитки станционных путей, совершили, казалось бы, невозможное - вдвое увеличили емкость Ташкентского железнодорожного узла, на котором разгружались завод за заводом.

Наверное, все-таки способность совершать немыслимое рождается из потребности в том, чтобы оно совершалось. И эта потребность, а не только собственная смелость толкает людей на подвиг. До зарезу необходимый. Да и вообще, верно ли называть подвигом то, что совершают без необходимости?

Дерзостью, удальством - да, но не подвигом! Наверное, в мирное время никому не пришло бы в голову делать многое из того, что сейчас считаем естественным и что когда-нибудь потом будет казаться невозможным, хотя оно и делалось. Все-таки война - как труба Страшного суда - заставляет человека почувствовать себя голеньким, держащим ответ за все им сделанное перед чем-то великим. Заставляет его страстно желать, чтобы праведных дел оказалось за ним все-таки больше, чем грехов. Все это, конечно, только если он верит. Не в бога, а во что-то, что намного важнее его собственной жизни, и это что-то, в общем-то, судьба его страны.

Та или другая. О родине говорят и думают по-разному. Наверное, можно о ней думать и вот так, как сейчас думается. А война - действительно Страшный суд! Чею уж страшнее этого суда, на котором отвечаем и за все, что успели сделать, и за все, чего не успели. А тот, кто надеется, что его лично на этот Страшный суд авось да не вызовут - забудут или не успеют, вот тот действительно грешник перед всеми другими! Тому по всей справедливости - только в ад! Хотя по некоторым не видно, чтобы даже отдаленно задумывались над этим. Скорее наоборот, рассчитывают жить и в послевоенном раю и гадают, через сколько времени он для них на чужом горбу и крови начнется, подумал Лопатин, вспомнив об одном говорливом человеке, не понравившемся ему на Новом году у Вячеслава. Так не понравившемся, что, самое малое, хотелось треснуть его

пистолетом по лысой макушке, чтоб хоть не говорил про победу и не вскакивал первым, поминая мертвых, когда сам от головы до пяток состоит из глубокого равнодушия ко всему, кроме собственного стремления остаться целым.

А кто-то все равно его любит и радуется, что он жив и здоров и останется живым и здоровым. И кто-то, какая-то женщина, и может быть не только та, с которой он пришел на этот Новый год, а еще какая-то, другая или третья, спит с ним, и слушает его исповеди, и одобряет его желание жить вместо других...

Лопатин думал об этом, глядя в окно на соседние, сходившиеся все ближе и ближе к одной нитке пути. Думал с несвойственным ему ожесточением, без того хладнокровия, с которым обычно напоминал себе в минуты гнева, что люди бывают разлые, на том и стоит земля.

Сейчас этого хладнокровия не было. В конечном итоге это была мысль о себе самом, уезжавшем снова на фронт, и о женщине, которую он полюбил и которую оставлял здесь, поблизости от этого человека. И от других, таких, как этот. Да, да, было сейчас в его чувствах что-то от той слепой мужской злости, с которой думают на фронте о молодых мужчинах, задержавшихся тут, в тылу, недалеко от женщин, которых не увидишь до конца войны! С правом или без права, с основанием или без основания, справедливо или несправедливо, но приходит минута, когда думают... Вот и к нему пришла эта минута.

"Не рановато ли, - усмехнулся он над собой. - Хоть бы до фронта доехал!"

Поезд замедлил ход и остановился на разъезде. Навстречу мимо - на зеленый свет - тяжело грохотал на стыках эшелон с нефтяными цистернами. Первый из тех, что будут теперь идти навстречу, днем и ночью, все четверо суток, до самого Красноводска.

Губер еще в первое утро, когда мылись в бане, говорил о диверсионной группе, сброшенной немцами осенью в песках под Чарджоу, чтобы взорвать единственный железнодорожный мост через Амударью, перерезав эту нефтяную нитку из Красноводска. Группу сбросили слишком далеко в песках. И ее там же, в песках, и встретили, когда ей оставались сутки ходьбы до моста...

"Да, всего одна тонкая нитка", - подумал Лопатин, вспомнив этот рассказ.

Эшелон с нефтью прошел, и поезд снова тронулся. Слева уже не бежали навстречу полоски рельсов. Сразу за шпалами - откос и переметенная снегом степь...

Лопатин пошел в купе, где расчерчивали пульку, готовясь играть в преферанс, трое его соседей - два железнодорожных

начальника, ехавших до Чарджоу, и военврач, ветеринар, сходивший еще раньше на станции Каган.

Военврач выглядел стариком, а форма на нем была новенькая, топорщившаяся, словно он первый раз ее надел. Его только что призвали, и он ехал под Бухару, где стояла кавалерийская часть.

- Предшественник мой дорапортовался, чтобы его на фронт послали, а меня - на замену. Может, по старости лет так и не призвали бы, да один старый кавалерист в штабе округа увидал меня и вспомнил по гражданской войне. Проверили, живой ли я, - живой! Вызвали, предупредив, что по возрасту вправе не согласиться...

- А сколько вам? - спросил Лопатин.

- Шестьдесят второй пошел. А как можно не согласиться?

Я бы сам давно заявление подал, но неловко было на казенное довольствие претендовать! Силы уже стариковские, а паек как молодому, который на том же довольствии намного больше тебя сделает. Но раз вызвали, то конечно!

Он говорил все это, заканчивая расчерчивать пульку толстым синим карандашом на сложенной вчетверо вчерашней газете. Другой бумаги не было. В голосе его чувствовалось довольство судьбой и интерес к предстоящей службе.

Железнодорожники пригласили Лопатина четвертым, и они играли в преферанс весь день и вечер, закончив последнюю, пятую пульку только глубокой ночью.

Лопатин проснулся, как ему показалось, рано. И только посмотрел на часы, понял, что проспал четырнадцать часов и за окном не светает, а начинает темнеть. Поезд стоял в степи, на разъезде. Было слышно, как с другой стороны тяжело грохает на стыках встречный состав, - наверное, опять с цистернами.

Никого из соседей не было, они сошли, и вместо них никто не сел.

Покашливая и что-то бормоча себе под нос, проводник заметал мусор.

Вчера Лопатин его не видел. И в Ташкенте, когда садился, и потом по дороге, когда пили чай, видел старую женщину-проводницу.

Заметя мусор в совок и так и оставив совок и веник на полу, проводник вздохнул и присел на диван. Видимо, ему трудно было нагибаться. Он посмотрел вверх и увидел проснувшегося Лопатина.

- Если желаете, можете на нижнее место перейти, - сказал проводник.

- А новые пассажиры не сядут?

- Пока на этих перегонах навряд ли... Кипяток есть, если чай имеете, можете сами заварить или мы заварим.

Лопатин слез с полки и вынул из чемодана осьмушку чая.

- Заварите, пожалуйста.

- Так не давайте, - строго сказал проводник. - Отсыпьте на газетку, сколько вам надо, столько и заварим. По вашему вкусу и возможностям. А то...

Он не договорил, но было и так понятно, что он хотел сказать.

Лопатин не стал спорить. Достал из полушубка газету, оторвал кусок и насыпал туда чаю с таким расчетом, чтобы заварки хватило на двоих.

- Заварите, попьем вместе.

Проводник ничего не ответил. Закрутил газету фунтиком, чтобы ни одной чаинки не выпало, и ушел. Лопатин уже и сходил помылся, и достал из чемодана хлеб и сахар к чаю, а проводник все не шел. Пришел только через полчаса и поставил на столик чайник и один стакан.

- Никакого жару нет, - сказал он недовольно. - Чай, если его крутым кипятком не запаришь, ни вкусу, ни цвету. А вместо угля - пыль.

- Вы чего себе-то стакан не взяли? - спросил Лопатин. - Попили бы вместе.

- Мы уже чай пили в свое время, - сказал проводник так, что Лопатин не понял: правда ли он пил чай и больше не хочет или не желает пользоваться приглашением. - А вот, замечаю, вы курящий. - Проводник кивнул на коробку "Казбека", которую Лопатин выложил на столик вместе с хлебом и сахаром. Если угостите - закурю.

Лопатин распечатал и протянул ему коробку.

- Чай не пьете, так хоть присядьте.

Проводник присел, понюхал папиросу, оценивая табак, примял мундштук и не спеша закурил.

- За курево на все иду, все отдаю. Хлеб на табак менял. Хлопковый жмых выдавали - тоже менял: тем более жуешь его, а от него во рту вата. Жена бранит, говорит, и так высох с этого курева, лучше бы про свое питание думал. А что об нем думать, если после него закурить нечего...

Лопатин посмотрел на проводника. Он и правда был сухощав и худ, но не голодной худобой вдруг отощавшего человека, а природной, оставлявшей впечатление стариковской крепости.

- А где жена? - спросил Лопатин. - Вы ташкентские или ашхабадские?

- Жена здесь, со мной, - сказал проводник. - Мы теперь с ней

и ташкентские и ашхабадские... Только считается, что живем в Ташкенте, а с поезда не слазим. Раньше как ездили? Неделю в поезде, неделю дома. А теперь одна подсмена - три недели в поезде, неделю дома. Раньше два проводника на один вагон, а теперь то же самое на два вагона. На меня и на нее - мягкий, этот и восьмой - жесткий. Раньше в том вагоне, в жестком, два проводника и в этом два - я и напарник. А теперь вместо всех их я да жена. А их троих нет - на войне! Про других точно не знаю, говорят, пропали, а напарник мой пока живой, домой письма пишет.

- А у вас в семье как? - спросил Лопатин.

- Мы не многодетные - сын да дочь. Сын воюет, невестка гуляет, дочь мужа ждет. Правда, пока судьба милует - оба живые.

Жена дочь жалеет, про зятя говорит: "Пусть у него будет рана, хотя бы тяжелая, пусть непригодным признают, только б вернулся к ней!" А я ей говорю: "Дура ты, дура, рану, кто ее отмерит, чтобы для войны был непригодный, а для всего другого еще пригодный?" Она у меня верующая. Говорю ей: "Лучше не молись об этом, а то вернется ни для чего не пригодный". А вас куда ранило? - вдруг спросил он.

Или только теперь увидел у Лопатина нашивки на гимнастерке, или и раньше хотел спросить об этом, а собрался сейчас.

- Меня легко, - сказал Лопатин. И, прижав пальцем веко, на ощупь показал пересекавший веко и подбровье маленький шрам. - Царапина...

- Царапина-то царапина, - согласился проводник. - Да угоди пониже быть без глазу. А еще куда?

- Второй раз - контузия. Тоже легкая.

- Контузия хуже всего, - сказал проводник. - Об ней больше помнишь, чем об ранах. Я сам на той войне два раза раненный был, об них и не вспоминаю, а об контузии помню. Нагинаться начинаю, и вдруг в голову ударит! Может, просто года мои уже не те, а все равно думаю на контузию.

Он докурил папиросу до картона и поднялся.

- Возьмите в запас, - протянул Лопатин коробку.

- Спасибо. Лучше еще к вам зайду, раз вы одни, - сказал проводник. - А то ездим, ездим с женой взад-вперед, говорим, говорим с ней, сколько за всю жизнь не говорили, и все про одно и то же. Вместе и вместе, и некуда друг от друга деться!

Отдыхайте. Чайник я вам оставлю, можно будет и подогреть после.

Он вышел, а Лопатин ехал и думал об оставшейся там, в Ташкенте, женщине, которую мысленно называл "она", так и не

научившись ни вслух, ни про себя называть ее Никой.

"Зовите меня как хотите", - сказала она ему ночью, почувствовав, как он в очередной раз запнулся, прежде чем назвать ее тем именем, к которому она привыкла, по которое почему-то не выговаривалось у него, казалось ему каким-то придуманным, не шедшим к той естественной простоте, которая так влекла его в ней.

"Зовите меня как хотите - на "вы", на "ты", Ниной, Тоней, хоть Машей, к-ак вам нравится, так и зовите. Только не запинайтесь, как сейчас. Придумайте то, что вам понравится, и уже не запинайтесь..."

Но он так и не придумал. Продолжал говорить ей то "вы", то "ты", то просто обращался к ней без имени. Он был ошеломлен свалившимся на него счастьем. Долгим или недолгим - неизвестно. Может быть, даже уже кончившимся, но все равно - счастьем!

Он вспомнил, с какой силой отталкивания она сказала там, на перроне, что боится обещаний. Вспомнил и подумал: да, может быть, и так. Может быть, его счастье - уже кончившееся счастье! Хотя он сам в это не верит и хотя он сам не боится обещаний и готов был бы их дать, если бы их ждали, а не защищались от них.

Там, у себя дома, утром с какой-то необидной простотой и нежностью, вдруг заторопив его, чтобы он уходил, пока не проснулся ее сын, она пошутила, что, если считать с того утра, когда она села в Кзыл-Орде в вагон, в котором он ехал, ровно неделя, как они знакомы. Целая неделя! Для военного времени это, кажется, принято считать достаточно долгим. А потом сказала серьезно, что если уж считать, то лучше всего считать так: все начинается с того, как мы с вами встретились в вагоне, и кончается на том, как мы с вами простимся у вагона. А насколько все это существенно, будет время подумать: у вас - в поезде, у меня - дома.

Слово "существенно", которое она употребила, было не ее слово, а его. Она перед этим задала ему вопрос, не ревниво, по-бабьи, а с каким-то товарищеским ожиданием, что не солжет, а скажет правду:

- Вот вы год один, без жены. Что же, у вас ни с кем ничего не было?

- Всякое бывало.

- Это хвастливо звучит, даже не похоже на вас.

- Ну, было что-то, - сказал он. - В Москве, а не на фронте. Несущественное для обеих сторон. Странно, если бы было иначе...

- Вот и я, как вы, тоже считала странным, если бы было иначе, - сказала она с чуть заметным оттенком вызова, словно

торопясь еще раз напомнить ему, что считает себя на равных с ним, мужчиной. - Только с той разницей, что заранее не знала, существенно это или несущественно. Что несущественно, только потом понимала, а вы, наверное, заранее знали, что несущественно?

- Да, знал заранее.

Вот и все, что он от нее услышал о годах ее, как она иронически выражалась, вольной, безмужней жизни. Больше ничего об этом не говорила ни до, ни после.

Хотя нет, еще раз все-таки сказала. Вдруг спросила его:

- А помните, когда вы уходили от Ксении, мои слова, что мы с вами, наверно, еще встретимся?

- Помню.

- Я уже знала тогда, что не наверно, а непременно. Я очень хотела вас снова увидеть и уже решила в ту минуту, что приду на Новый год одна. Хотя вам сказали, что приду вдвоем, да?

- Да.

- А я уже тогда решила, что приду одна, и сделала так, чтоб прийти одной. И собиралась на Новый год одна и только потом, перед тем как прийти к вам на студию, поняла, что не хочу вас видеть на людях. Хочу, чтобы я была одна и чтоб вы были один.

И не пошла встречать с вами Новый год. Для меня Новый год было то, как мы с вами тогда шли по улице. Это было мне гораздо важней, чем все другое. Я вас так и не спросила, как вы встретили Новый год.

- В общем, хорошо, - сказал он.

- У меня, когда мы шли тогда с вами, было желание вытащить вас к себе, но я понимала, что это будет нечестно перед Вячеславом Викторовичем, что вам нельзя в тот вечер его бросать, а если я буду вас звать и вы не пойдете, это будет плохо, а если поддадитесь мне и пойдете - тоже будет плохо, потому что вы не должны этого делать. И я ничего вам не сказала. А почему вы меня не спросите, как я встретила Новый год? Хотя я знаю, почему вы не спрашиваете.

- Раз знаете, оставьте при себе, - сказал Лопатин.

- Нет, не оставлю. Я пошла к Зинаиде Антоновне, пришила ей воротник, потом отнесла еще одно платье, и оттуда меня на машине довезли до самого дома - чего только не готовы сделать за платье под Новый год! Мы посидели с мамой и с Марьей Григорьевной ровно до двенадцати часов, выпили по рюмке сладкой наливки, которая была спрятана у мамы, и я легла и заснула. Так устала за все эти дни: и в театре - шили семь костюмов к премьере, и со всем этим новогодним перешиванием так мало спала, что сразу легла и без всякого труда заснула. Вот

так я встретила Новый год! По-моему, очень хорошо. И перед сном долго о вас не думала, просто подумала, что завтра вас увижу, и заснула с этой мыслью. А не спросили вы меня потому, что не были до конца уверены в чем-то важном для вас. И это действительно важно.

Так вот, я хочу, чтобы вы знали: я ни о ком больше не думала и ни о ком больше не помнила уже в конце того вечера, когда сказала вам, что мы, наверное, увидимся. Все остальное вас не касается, а это, по-моему, важно.

Он поверил тогда ее словам. Понял, что так оно и было. Главное, он чувствовал, что она действительно совершенно не думает о том человеке, который еще недавно намеревался на ней жениться.

Она вела себя так, словно его и не было на свете.

Сейчас, когда он вспоминал ее, ему то казалось, что он знает о ней слишком мало, то казалось, что слишком много. И наверное, и то и другое было правдой. Она жила труднее, обременительнее, чем он считал, когда впервые ее увидел и услышал первые разговоры о ней. И он понял, что она далеко не все говорит о себе людям, не считает это нужным. Непривычна жаловаться и даже, наоборот, любит создавать впечатление, что живет легче, проще, лучше, чем на самом деле.

Оказалось, она не просто содержит МРТЬ и сына, как сказал об этом Вячеслав, а что ее мать настолько больной человек, что уже давно не выходит из дому и не всегда в состоянии встать и открыть дверь. И Лопатину и ей, когда они пришли, открывала дверь не ее мать, а соседка, ленинградка, Мария Григорьевна.

И оказалось, что этой соседке, сорокалетней женщине, вывезенной сюда уже во время блокады с тремя дочерьми, старшей из которых тринадцать лет, отдана единственная большая комната оставшейся половины дома, а две другие комнатки совсем крохотные. И, судя по некоторым приметам быта и отношений, Лопатин безошибочно почувствовал, что единственный мужчина в этом доме Нина Николаевна. А все остальные: родные, и неродные, и ташкентские, и ленинградские - все, в общем-то, на ее иждивении. Она ими всеми командует, но она на них всех и батрачит.

Она не говорила ни ему, ни, наверно, другим, что они живут с этими ленинградцами одной семьей, но они жили именно одной семьей, и она была главным кормильцем этой семьи.

И с отцом, ушедшим от ее матери, было, наверное, еще сложней, чем она говорила, потому что ее мать оказалась не просто оставленной женщиной, а женщиной, которая, не вынеся горя, стала почти инвалидом. И уже давным-давно, с тех пор, как

это случилось, жила, прислонившись к дочери, слабая - к сильной.

И история с мужем, уехавшим на Дальний Восток, тоже была не досказана до конца.

Лопатин сидел в ее крошечной, чистенькой, оклеенной обоями комнате, где кроме швейной машинки стояла еще и пишущая, - оказывается, она еще и печатала, когда у нее хватало времени а была работа. И она сказала, что раньше это была не комната, а чулан; когда приехали ленинградцы, она все-таки захотела иметь свой угол и сама утеплила этот чулан, положила еще один слой толя на крышу, оклеила обоями - и вот теперь живет.

- Я все умею, - сказала она. - Иногда такое нахальное чувство, что вообще все на свете умею. А муж все равно бросил!

Сказала, словно в наказание за собственное хвастовство. И разговор, наверно, не пошел бы дальше; но Лопатин вспомнил предвоенные годы на Дальнем Востоке - как нелегко было приезжему человеку найти себе там, в приграничье, жену - и спросил про ее бывшего мужа:

- А на ком он там женился?

Тогда-то и оказалось, что все было куда хуже, чем она поначалу сказала: муж дважды обманул ее. Сначала сказал, что его отправили на Дальний Восток без его согласия, а потом выяснилось, что поехал, имея возможность не ехать. Устроил так, что уехал один, объяснив, что будет готовиться к приезду семьи, а на самом деле через три месяца к нему поехала отсюда, из Ташкента, женщина, с которой у них все было уже заранее решено!

- Отдыхал с ней от меня, - усмехнувшись, сказала она про бывшего мужа и про эту женщину. - Я прямолинейная, с такими устают. Это не случайно, что и маму бросили, и меня. Что-то есть, значит, в нас такое... В чем-то, наверное, сами виноваты, что нас бросают. С одной стороны, готов был носить на руках, а с другой - любил, чтобы "принеси, подай"... А я и на руках не любила, чтоб меня носили и чтоб "принеси, подай" мне говорили, тоже не любила. Хотела жить наравне. Больше любила чинить электричество, чем мыть посуду. Мыла, конечно. Но не любила. И разговорами его мучила о том, что он делает, и о том, что я делаю. И как мне жить? Когда, окончив театральный институт, поняла, что актрисы из меня не вышло, набралась мужества и пошла заведовать костюмерной. А ему хотелось, чтоб уж раз не актриса, так сидела бы дома! Хотелось, вернувшись домой, быть царем природы и отдыхать на лоне... А со мной не получалось... Долго не могла простить ему того, как он трусливо от меня уехал.

Как будто не знал меня, что отпущу на все четыре стороны по первому требованию. Только не вздумайте меня жалеть, я не жалуюсь, я просто откровенна с вами...

Это верно, она была откровенна с ним. О чем-то не хотела говорить и не говорила, но, если что-то говорила, не останавливалась на полдороге. Когда он спрашивал ее - отвечала правду, иногда без размышлений, а иногда помолчав, преодолев внутреннее сопротивление.

И его спрашивала обо всем - и о нем самом, и о жизни, и о войне - с прямотой, требовавшей правды.

И он говорил правду - и о себе и о войне. Говорил и такое, что обычно оставлял при себе, потому что есть вещи, о которых во время войны про себя думают, но вслух не говорят.

- Сколько еще, по-вашему, будет идти война?

Обычно в ответ на этот вопрос он только пожимал плечами:

кто может точно сказать, сколько еще будет идти война? Но она спросила, и он вспомнил не о Сталинграде, а о Ржеве и Вязьме, которые после полутора лет войны все еще под немцем, и от них до Москвы по-прежнему в шесть раз ближе, чем до Берлина. И без раздумий сказал ей то, что подумал, - три года! Навряд ли меньше.

- А скажите, вот сейчас мы уже лучше стали воевать, чем немцы, или нет?

На фронте таких вопросов не задавали. Знали сами о себе, где неудача, а где успех, что сумели, а что не сумели, когда воевали лучше, а когда хуже немцев. Иногда вслух хвастались, но про себя знали все как есть.

- По-моему, пока еще не лучше.

Ответил так, словно обязан был отчитаться перед ней в том, над чем сам много и тяжело думал после последней своей поездки на Западный фронт.

- А у вас не бывало так, что вот вы вернулись с фронта и вам не хотелось бы снова на фронт? Хотелось бы жить где-нибудь здесь?

- Нет, жить где-нибудь здесь еще ни разу за войну не хотелось. А не ехать на фронт, остаться в Москве хотелось. Несколько раз. Два раза, во всяком случае. Когда возвращался после тяжелой поездки, а писать было нечего.

- Почему?

- Потому что бывает так! Настолько неудачно воевали, что нечего писать или почти нечего. От нас же не этого ждут...

Она целый час подряд расспрашивала его о войне, а потом вдруг сказала:

- Может быть, стыдно говорить самой о себе, но вы же ни от

кого другого не узнаете, а мне давно хочется вам сказать, чтобы вы знали: я по два раза в месяц, с самого начала войны, сдаю кровь и буду, пока не кончится война, делать хотя бы это. Вы, конечно, знаете, что за это дают дополнительную донорскую карточку.

- Знаю, - сказал Лопатин.

- Я тоже ее получаю. Подумала, вдруг вы об этом не знаете, об этих карточках, и выйдет, что я вам одно сказала, а другого нет.

Потом, это уже когда он уходил от нее, заговорила о себе и своем сыне:

- Я не хочу, чтобы он вас видел, не потому, что мне будет стыдно перед ним. Мне было бы нисколько не стыдно рассказать ему про вас, почему я вас позвала к себе, и мне кажется, что я могла бы ему рассказать про вас много хорошего и он бы меня понял. Но дети очень любят спрашивать - что дальше? А мне пока нечего ему ответить. И жаль забивать его бедную голову, она и так...

Она не договорила на этот раз. Чуть не впервые за все время не договорила, но он понял и спросил у нее, как она объяснила мальчику то, что произошло между ней и его отцом.

- Очень просто, - сказала она, - как все было, так и объяснила! Сначала объяснила так, чтобы он мог понять в свои пять лет, а недавно, когда ему исполнилось восемь, объяснила еще раз.

И, сказав про своего сына, спросила Лопатина о его дочери:

- Решили не отдавать ее?

- Решил.

- И не отдадите?

- Не отдам, - ответил он и, вспомнив свою дочь в ее счастливые дни в Москве, в редакции, среди его товарищей по войне, подумал, как, наверное, трудно бывает сыну этой женщины. Какие трудные вопросы ставит перед ним в его восемь лет жизнь там, в школе. "Где твой папа?" - "На фронте". - "А твой папа?" - "Мой папа на фронте". - "А твой папа?.." Как он, которому мать недавно все еще раз объяснила, отвечает сейчас на этот вопрос про папу?

Эта женщина в последние минуты перед уходом из ее дома сделалась так дорога ему, что он, хотя и уезжал на фронт, был почти готов заговорить с ней о будущем. Но что-то еще более сильное, чем это желание, удержало его. Не только мысль о разнице в годах. Удержало еще что-то. И это "что-то" была опасность обидеть ее молчаливым предположением, будто она именно этого и хотела, чтобы он перед уходом от нее заговорил о будущем.

Она могла тоже думать о будущем, а могла и не думать. А могла не хотеть думать из чувства самозащиты. И это было именно то, о чем нельзя было спросить ее. Почти обо всем остальном можно, а об этом нельзя.

Среди ночи она, улыбнувшись, - эта улыбка послышалась ему в ее голосе сказала, что, оставшись одни, люди, которые собираются и дальше быть людьми, всегда ищут, если только они не трусы. Одни ищут безгрешно, другие грешно, но все равно ищут!

И добавила:

- Только не считайте меня циничной. Я действительно так думаю. И лучше уж самой быть кузнецом своего счастья или несчастья, чем какой-то безответной наковальней, по которой жизнь бьет как попало, чем и как ей вздумается.

И, помолчав, снова улыбнулась, он снова услышал эту улыбку в ее голосе:

- Вы не мавр, конечно. Никакой вы не мавр! Но - она его за муки полюбила... что-то почти такое есть и у меня к вам. Если бы вы были какой-то другой, и по-другому говорили о войне, и не с войны приехали бы сюда, и не были бы до этого всюду, где вы были, - не знаю, что бы я чувствовала к вам и как бы все у нас было. Наверно, не так. Даже уверена, что не так. Я вам говорю правду. Может быть, вам это неприятно, но это правда.

Нет, ему не была неприятна эта правда. Он и сам понимал, что он для нее - человек с войны. Приехавший с войны и снова уезжающий на войну! Он подумал не об этом, а о слове "ищу". Да, она искала в нем чего-то важного, необходимого для нее. Может быть, даже чего-то, без чего не могла дальше жить. Искала? Да.

Но нашла ли?

Ему-то казалось, что он нашел, а ей? "Боюсь обещаний..."

Он ехал уже вторые сутки, а у него в ушах все сидели эти прощальные слова, которыми она как бы хотела на всякий случай освободить его от себя. А он не хотел освобождения! И вся сложность происшедшего с ним состояла не в том, что он разлучился с ней, а в том, что так и не разлучился! В том, что он вез с собою эту женщину. Вез с собою всю ее, с ее душой, с ее телом, с ее голосом, с ее улыбкой, с ее бесстрашной привычкой говорить и отвечать правду, с ее нежеланием заглядывать в будущее и с ее руками, неожиданно шершавыми и все-таки нежными, с ее припухшими на подушечках, исколотыми пальцами. Первое, поразившее его прикосновение этих пальцев к своему лицу он тоже вез с собой.

На первой станции за Ашхабадом стоял под погрузкой воинский эшелон. В теплушки по сбитым из досок накатам

заводили лошадей - наверное, собирались переправлять туда, на Кавказ, в какую-то кавалерийскую часть. На всех станциях и разъездах шли и шли навстречу эшелоны с бакинской нефтью. Шли, напоминая о войне. Шли с таким упорством и постоянством, что у Лопатина вдруг возникла странная и даже дикая мысль: как будто где-то на самом берегу Каспийского моря, у берега, где формируются эти составы, стоит на путях какой-то могучий человек и, упираясь в них, беспрерывно толкает их один за другим. Уперся на том конце и толкает!

В последней газете, которую Лопатину удалось купить в Ашхабаде, сводка сообщала о наступательных боях на Среднем Дону, южнее Сталинграда и на Северном Кавказе. До этого в прежних сводках о военных действиях на Кавказе сообщали глухо, не называли почти никаких населенных пунктов, а на этот раз говорилось о взятии внезапным ударом Моздока и Малгобека.

На станции Джебел, за пять часов до Красноводска, - Лопатин почти на всех станциях выходил, а тут поленился выйти - проводник привел в купе лейтенанта из транспортного отдела НКВД.

Лейтенант представился и, попросив у Лопатина документ, удостоверяющий его личность, вынул из планшета переданную по селектору телефонограмму редактора: "Корреспонденту "Красной звезды" Лопатину. Явитесь Красноводске дежурному воздушных перевозок. Срочно вылетайте".

В первую секунду, когда заглянувший в купе раньше лейтенанта проводник сказал: "Товарищ командир, вам телеграмма" - "телеграмма", а не "телефонограмма", - в голове мелькнула шальная мысль, что это не от редактора, а от нее. Но телефонограмма была от редактора и напоминала, что ты уже не в отпуску и должен спешить!

Поезд пришел в Красноводск ровно в двенадцать, а в два часа с минутами Лопатин уже сидел сверхкомплектным пассажиром в фонаре фельдъегерского самолета связи СБ, который каждый день, если была погода, летал через Каспийское море из Красноводска то в Баку, то в Тбилиси - в зависимости от задания и пассажиров.

Лопатину вдвойне повезло. И в том, что он успел на этот самолет, и в том, что самолет шел сегодня прямо до Тбилиси. Это укорачивало дорогу на целые сутки. Правда, уже перед вылетом Лопатин слышал обрывок разговора между оперативным дежурным и летчиком - погода портится, можно и не дойти. Но летчик все-таки полетел, сказав, что, если облачность прижмет и начнется обледенение, он вернется. Самолет долго пробивал облачность, набирая высоту, а потом, так и не пробив ее вверх,

стал пробивать вниз. Пробил в последнюю секунду, у самой воды, и пошел на бреющем. Над Каспием стояла туманная зимняя сырость, в свинцовой воде плавали льдины...

Глядя на эту опасно-близкую свинцовую воду, Лопатин подумал о Вячеславе. Если б редактор, тогда по телефону, позволил, а Вячеслав решился, обстоятельства уже сейчас по дороге разлучили бы их. Летчик смог бы взять только кого-то одного, оставив другого там, в Красноводске...

16

В Тбилиси, в штабе Закавказского фронта, Лопатин узнал, что наши войска еще вчера взяли Нальчик и Прохладную и продвигаются к Минеральным Водам.

Корреспондент "Красной звезды" Кутейщиков уже уехал туда, в наступавшую Северную группу войск, взяв с собой в машину корреспондента ТАСС. Но зато "эмка", принадлежавшая ТАСС, только вчера вышедшая из ремонта, должна была догонять фронт, и ее водителю было оставлено приказание - дождаться в Тбилиси Лопатина и ехать с ним и с прибывшим накануне из Примерской группы войск вторым корреспондентом ТАСС, которого теперь в связи с обстановкой тоже перебрасывали в Северную группу.

Все это Лопатин узнал в редакции фронтовой газеты, явившись туда прямо с самолета. Тассовца он не застал, тот должен был вернуться только к ночи, но "эмку", на которой предстояло ехать, нашел в гараже и приказал водителю быть готовым к выезду завтра, в восемь утра. Дорога предстояла длинная, через Крестовый перевал, про который говорили, что машины через него идут, но он сильно заметен снегом.

Оставив чемодан и вещевой мешок в одной из редакционных комнат, около дивана, который ему отвели для ночлега, Лопатин пошел по городу.

Вечер был холодный и ветреный. Затемненный военный Тбилиси казался непохожим на себя. Но Лопатин, уже шесть лет не приезжавший сюда, раньше и бывал и жил здесь по неделям и, несмотря на затемнение, знал, куда надо идти, чтобы добраться до улицы Вардисубани, до того знакомого ему дома, о котором он подумал еще в самолете, когда подлетали к Тбилиси.

В этом старом доме на улице Вардисубани жил человек, которого он знал в этом городе лучше всех других, еще с конца двадцатых годов, со своей первой поездки в Грузию, в Чиатуры. Знал его жену и его детей и несколько раз останавливался у него, приезжая сюда.

С последнего приезда Лопатина в Грузию, с осени тридцать шестого года, они не виделись и не переписывались, но он слышал от других, что Виссарион жив и здоров. А прошлой

осенью увидел его стихи, напечатанные в "Известиях", и порадовался, как они хорошо переведены на русский.

Если Виссарион сейчас в Тбилиси и дома, он будет рад. И его жена, Тамара, будет рада. В этом Лопатин не сомневался. Только дома ли он? А может быть, в армии? Стихи в "Известиях" были посвящены бросившемуся с гранатами под танк и погибшему лейтенанту-грузину, и под ними стояло: "Действующая армия". Может быть, он и сейчас там?

Но одиночество сильней сомнений: походив по неузнаваемо темному городу, Лопатин остановился перед знакомым домом. На лестнице было темно. Он поднялся на второй этаж, держась за перила, и, еще раз мысленно проверив себя, направо или налево дверь, которая ему нужна, нащупал ее, как слепой, и нажал на звонок.

Никто не ответил - или не работал звонок, или никого не было дома. Он постучал, сначала коротко, потом несколько раз подряд, громче и сильнее.

За дверью послышались шаги, и знакомый громкий голос Виссариона спросил по-грузински:

- Кто это, кто пришел? Кто пришел? - сердито повторил там, за дверью, Виссарион.

- Это я, Лопатин! - сказал Лопатин и, шагнув в открывшуюся дверь, оказался в объятиях невидимого в темной передней Виссариона Георгиевича, над именем-отчеством которого он когдато шутил: почти Белинский!

Они обнялись, и Виссарион, подхватив его под мышку своей длинной рукой, потащил за собой по коридору в глубь квартиры.

- Не ушибись, - сказал Виссарион. - Я и в темноте все помню, а ты, наверное, уже не помнишь.

Они свернули из длинной передней направо в коридорчик и вошли в маленькую комнату напротив кухни. В этой комнате раньше жила младшая дочь Виссариона - Этери.

Теперь там стояла знакомая Лопатину мебель, собранная со всего дома. Широкая тахта и одна книжная полка из кабинета Виссариона, туалетный столик из спальни, обеденный стол и два стула из столовой.

- Нигде не топим, а здесь топим печку. - Виссарион помог Лопатину снять полушубок и, усадив на тахту, сам сел наискось от него на стул.

- Хорошо выглядишь! Смотри, два раза ранен был! Поздравляю! - Это относилось к ордену.

Виссарион немножко, самую чуточку, заикался. Когда он говорил по-грузински, Лопатин не замечал этого, а когда по-русски - замечал.

- Привет тебе из Москвы от Бориса, от Гурского, - сказал Лопатин, вспомнив, как Гурский, тоже давно знавший Виссариона, перед отъездом из Москвы просил: "Чем ч-черт не шутит, если в-встретишь в Тбилиси сванскую башню, которая называется Виссарионом, п-поклоыись ему от меня и п-проверь, не догнал ли он м-меня за эти годы по з-заиканпю".

Не сван, а кахетинец, Виссарион, сложенный с какой-то особенной каменной прочностью, в самом деле был похож на сванскую башню. Большие ноги, большие руки, широкие плечи, большая голова на крепкой, сильной шее. Таким он был шесть лет назад, таким оставался и сейчас. Только немного полысел - и должно быть недавно, потому что одной рукой все поглаживал голову, поправляя редкие волосы, прикрывавшие лысину. Наверное, еще не привык к ней.

- Я читал его статьи, - сказал Виссарион о Гурском. - И твои.

Он редко пишет, ты больше.

- А я твои стихи видел осенью в "Известиях".

- Это песня. Ее перевели как стихи, а это песня. Я написал ее на фронте на собственную музыку. Несколько раз ездил на фронт начальником фронтовых бригад. Я теперь служу в нашем комитете по делам искусств. - Виссарион вздохнул так, что Лопатин невольно улыбнулся.

В былые годы Виссарион не очень-то любил служить; говорил, что служба не дает ему писать стихи, почему-то они приходят в голову по утрам, как раз когда надо идти на службу.

- Как Тамара, как дети? - спросил Лопатин, когда через две двери на кухне послышались женские голоса.

- Все здоровы, - сказал Виссарион. - Сейчас я позову Тамару. Мы сегодня с ней первый день совсем одни в этой квартире.

Наши дети уехали.

И, не став объяснять, куда уехали дети, поднялся, вышел и вернулся, подталкивая перед собой жену, которая, судя по выражению ее лица, совсем не хотела сюда идти. И, только увидев Лопатина, радостно вздохнула и пошла ему навстречу, вытирая руки о фартук.

- Здравствуйте, Тамара, - сказал Лопатин, целуя ее руку.

С Виссарионом они были на "ты", а с его женой так с первой встречи и остались на "вы".

- Здравствуйте, мой дорогой, - сказала она, целуя его и лоб. - Вы даже не знаете, как я вам рада! Виссарион, негодяй, вытащил меня из кухни, ничего не сказав. Сказал только: "Сейчас я кого-то тебе покажу!" Я не хотела идти, думала, к нему кто-то по делу... Садитесь, пожалуйста, сейчас будем ужинать.

Она говорила все это с какой-то материнской одновременно и

радостью и печалью. И, глядя на Лопатина, стиснув руки, незаметно для себя тихонько поламывала пальцы.

Ее прекрасное, тонкое лицо похудело и заострилось. Огромные черные глаза казались еще огромнее от набежавшей под ними синевы.

"Да, вот кто переменился за эти годы, - подумал Лопатин. - Вот на ком сразу видно, что на эту семью обрушилась война!"

- Как ваша девочка? Она теперь уже большая, - спросила Тамара, продолжая смотреть на Лопатина своими прекрасными печальными глазами.

- Скоро шестнадцать.

- А где она?

- Сейчас в Омске, у моей старшей сестры.

- Это хорошо, это далеко. А как ваша жена? - спросила Тамара.

Виссарион приезжал в Москву всегда один, она не бывала с ним и знала и о девочке и о жене Лопатина только со слов мужа.

И хотя не было никаких причин не сказать ей все как есть, что-то остановило Лопатина от прямого ответа. В грузинских семьях редко расходятся, особенно когда есть дети, а если это все-таки происходит, относятся к этому как к трагедии.

И Лопатину почему-то не захотелось говорить сейчас этой женщине, с ее и без того печальными глазами, правду о себе и своей жене.

- Она в эвакуации, - сказал он вместо этого. - В Ташкенте.

- Тоже хорошо, далеко, - сказала Тамара.

И когда она во второй раз сказала "далеко", он подумал, что еще недавно, пока не началось наше наступление, Тбилиси от фронта отделял всего только Крестовый перевал да еще сотня километров за ним... Путь, который ты собираешься завтра проделать за один день...

- Очень похудела. Она не больна? - спросил Лопатин, когда Тамара вышла.

- Нет, не больна, - сказал Виссарион. - Я водил ее к врачу, он говорит, что не больна, просто... - И, не договорив, что "просто", спросил, на сколько Лопатин приехал в Тбилиси.

Лопатин объяснил, что завтра утром едет через Крестовый перевал догонять наступающую армию.

- Да, слава богу, наступаем, - сказал Виссарион. - Когда немцы осенью оказались на Эльбрусе, я каждый раз с ума сходил, когда думал об этом. Они уже на Кавказском хребте, а сзади - Турция! Иногда казалось, что стоишь в коридоре между двумя стенками и упираешься в одну руками, в другую спиной, и, если одну руку отпустишь, все на тебя упадет. Я, конечно, не военный

человек...

- Все мы не такие уж военные, - махнул рукой Лопатин. - Объясни, пока Тамара не вернулась, где дети, что с ними?

- Георгий в армии, десять дней назад был у нас, переночевал дома. Закончил в Кутаиси курсы младших лейтенантов и поехал на фронт. Сегодня, когда мы с Тамарой вернулись из деревни, нашли под дверью записку: наверное, кто-то ехал обратно и занес. Только несколько слов и полевая почта, на которую мы можем ему писать.

Виссарион полез в пиджак и, вынув записку сына, прочел номер полевой почты.

- Не знаешь такой полевой почты? - с надеждой спросил он.

- Пока не знаю, но, может, буду знать, - сказал Лопатин. - Повтори. И, достав записную книжку, записал полевую почту. - Когда же его успели взять в армию? - словно спохватившись, удивленно спросил он, вспомнив осень тридцать шестого года и тоненького, как прутик, двенадцатилетнего школьника, по настоянию кого-то из гостей позванного к взрослому столу и читавшего звонким, детским, даже еще не начавшим ломаться голосом стихи Бараташвили "Синий цвет" сначала по-грузински, а потом, в переводе Пастернака, по-русски. Как-то не укладывалось в голове, что этот тоненький, читавший стихи мальчик мог успеть быть призванным, закончить курсы, стать младшим лейтенантом, уехать на фронт и прислать оттуда отцу с матерью записку с номером своей полевой почты.

- Призвали в июне. - Виссарион стал загибать пальцы: - Июль, август, сентябрь, октябрь ноябрь, декабрь... Тамара сосчитала: когда он переночевал дома, ему всего одного дня не хватило до восемнадцати с половиной.

- А Этери? - спросил Лопатин.

- Отвезли ее в деревню, к старшему брату Тамары, к Варламу. Ты его встречал у меня, его вино всегда пили и сегодня будем пить... Он давно звал, просил. Все-таки он агроном, и деревня не город. А школа там тоже есть. Хотел, чтобы девочка лучше кушала.

- Ей что, пятнадцать? - спросил Лопатин.

- Почти шестнадцать, как твоей девочке. Она только на три недели моложе. Мы с тобой когда-то считали.

Лопатин не помнил, чтобы они считали, когда родились их дочери, а Виссарион помнил. И в том, что Лопатин забыл об этом, было что-то русское, а в том, что Виссарион помнил, было что-то грузинское. Тот какой-то особый оттенок пристрастия к детям, который Лопатин не раз чувствовал в самых разных грузинских семьях.

- Из-за нее и поехали в деревню? - спросил он.

- Сначала собирались из-за нее... А когда уже собрались, оказалось, что едем на поминки. Варламу пришла похоронная на сына...

- У него, по-моему, двое, - сказал Лопатин.

- Двое. Старший в прошлом году весной погиб в Крыму, товарищи рассказали, что потонул. А этот, младший, Валико... За него уже давно беспокоились, писем не получали, а тут получили извещение, что он еще в ноябре на перевале погиб... Не написали, на каком перевале, написали "на перевале". Но, я думаю, наверно, на Марухском. Написали: "Погиб смертью храбрых". А может быть, просто замерз мальчик... Варлам, когда получил извещение, совсем сошел с ума, хорошо, что мы к нему приехали. Тамара хотела после поминок увезти Этери обратно, думала, когда такое горе в семье, нельзя на них взваливать заботу о девочке, но Варлам ни за что не захотел отпускать. Плакал, просил: "Оставьте мне хотя бы ее! Мы совсем одни!" И девочка его пожалела, пришла к Тамаре и сказала: "Мама, я пока останусь у них..." Свою девочку там оставили, вернулись сюда утром, привезли немного кукурузы, вина, лобио. Все-таки в деревне лучше живут, чем здесь... Я подумал сейчас: вдруг бы ты вчера приехал и нас не застал! Как хорошо, что сегодня...

Лопатину снова послышались через дверь женские голоса на кухне, и он спросил:

- Тамара там не одна?

- Они вдвоем, - сказал Виссарион. - Мы сегодня позвали Мишу с женой. Там Тамара и Маро варят харчо. И лобио будет, ты, я знаю, любишь лобио. Миша все время в городе; хотелось немножко их угостить тем, что привезли из деревни. Миша скоро тоже придет.

Виссарион сказал "Миша" как о хорошо знакомом Лопатину человеке; неудобно было спросить: а кто этот Миша? Но Лопатин не вспомнил и все-таки спросил.

- Михаил Тариелович, - сказал Виссарион. - Ты сидел с ним у меня за столом в свой последний приезд. По-моему, два раза.

И когда он сказал - Михаил Тариелович, Лопатин сразу вспомнил человека, о котором шла речь. Он был инженер-путеец, служил на Закавказской дороге, дружил с писателями и сам немножко писал стихи, и даже хорошие, как утверждал любивший хвалить своих друзей Виссарион. Тогда, в тридцать шестом году, этот человек был самым старшим за их столом.

- Он будет рад тебя увидеть, - сказал Виссарион. - Я не все читаю, а он все подряд. Все, что кто-нибудь написал во время войны, все читал. Ночью приходит с работы - и читает. Несколько

раз говорил мне о тебе. Скажи, ты счастлив или несчастлив? Как у тебя дома?

- Дома никак. Но счастлив, - сказал Лопатин.

И Виссарион, не спрашивая, как и почему счастлив, сказал:

- Дай тебе бог.

Виссарион был мужчина и знал: можно и нужно спрашивать друзей, почему они несчастливы, но вряд ли стоит спрашивать, почему они счастливы...

Они сидели молча, и Лопатин, глядя на Виссариона, думал о том, о чем уже не раз думал за войну, во время встреч с людьми, которых давно не видел. Война придавала какую-то дополнительную значительность тому хорошему, что было раньше между двумя давно не встречавшимися людьми.

- Многих нет из тех, с кем мы сидели с тобой за этим столом, - после молчания сказал Виссарион и несколько раз задумчиво пристукнул по столу кулаком, словно считал тех, кого нет.

Стол этот - не такой, как сейчас, а раздвинутый, длинный - раньше стоял там, в темной теперь большой столовой. И за ним сидело по многу людей.

Виссарион разжал кулак и недоуменно положил свои сильные руки на стол ладонями вверх, словно безмолвно спрашивая: как это могло случиться, что их нет, людей, сидевших за этим столом?

Потом убрал руки и, видя, что Лопатин закурил, потянулся за папиросой.

- Я слышал, в Москве перед войной несколько человек из тех, кого мы с тобой знали, вернулись.

- Несколько вернулись, - сказал Лопатин.

- У нас пока никто.

О некоторых людях, чье исчезновение казалось тогда особенно непонятным, сейчас, во время войны, ходили по Москве упорные слухи, что они тоже вернулись и где-то воюют; даже говорили, что кто-то видел их своими глазами на фронте. И этим слухам очень хотелось верить. И хотелось рассказать о них помрачневшему Виссариону. Но в дверь постучали, и стук гулко отдался в большой пустой квартире.

Виссарион продолжал сидеть неподвижно.

- Это Миша, - сказал он после того, как в парадном еще раз постучали, и пошел открывать.

Михаил Тариелович, вошедший в комнату вместе с Виссарионом, молча обнял поднявшегося ему навстречу Лопатина и молча сел за стол. Он почти не изменился, и раньше был таким худым, что, казалось, не мог похудеть еще больше.

Он был одет тщательно, как человек, собравшийся в гости, в

старый отутюженный костюм и белую рубашку с крахмальным воротничком и черным шелковым галстуком. У него была белая серебряная голова и казавшееся темным от соседства этой белизны худое, тонкое лицо. И Лопатин вспомнил, как много и красиво пил когда-то здесь, за столом, этот немногословный немолодой человек со строгим лицом грузинского святого.

- Очень рад снова видеть вас гостем нашего дорогого Виссариона, сказал он, глядя на Лопатина своими задумчивыми глазами. - Для меня большая радость, что мы снова вместе с вами попробуем его хлеб и его вино. А завтра Мария Ираклиевна и я будем рады, если вы найдете время посетить наш дом.

Он сказал все это на том прекрасном и в его устах звучавшем даже чуть-чуть изысканно русском языке, на котором говорили многие грузинские интеллигенты его поколения, - и Лопатин вспомнил, что, кажется, он после гимназии кончал в Петербурге Институт инженеров путей сообщения. И не акцент, которого не было у него вовсе, а только неповторимые интонации в построении фраз обличали в нем грузина.

- Спасибо, но не смогу, завтра утром уеду, - сказал Лопатин.

- А если мы попробуем удержать вас у себя на несколько дней? - сказал Михаил Тариелович и, едва успев договорить эту такую обычную для довоенного Тбилиси фразу, мягко улыбнулся в ответ на отрицательный жест Лопатина. - Все понимаю. Как говорят теперь в авиации: от винта!

- Завтра к вечеру должен добраться, самое малое, до Орджоникидзе, объяснил Лопатин.

- Дай бог остаться живыми всем, кто там сейчас воюет, - сказал Михаил Тариелович по-грузински и повторил по-русски. - Вы, помнится, немножко понимали тогда по-грузински?

- Очень немножко. Если б вы не перевели, понял бы только два слова: дай бог! - сказал Лопатин.

- Тогда не будем вас испытывать, - мягко улыбнулся Михаил Тариелович и заговорил о последней сводке, которую только что слушал дома по радио; судя по ней, наши войска начинают обходить Минеральные Воды с севера. Хотя полностью представить себе всю картину трудно.

- А полностью представить себе всю картину иногда и на фронте трудно. Завтра еще нет, а послезавтра буду уже там, - сказал Лопатин.

В нем вдруг прорвалось то нетерпение, которое он испытывал с утра, после принесенной в поезд телефонограммы. Все, что с ним было, было хорошо, но теперь уже пора быть там и что-то делать.

Тамара вошла в комнату со скатертью и тарелками.

- А где Маро? - спросил у нее Михаил Тариелович.

- Не беспокойся, придет и твоя Маро. Уйдите отсюда, покурите. Там темно, но я думаю, вы не испугаетесь? А мы пока накроем на стол. Не люблю, когда вы на это смотрите.

Мужчины вышли в темную переднюю.

Пока в руке Лопатина догорала спичка, от которой все трое прикурили, он увидел знакомые книжные полки во всю длину передней. Раньше они были набиты книгами, а сейчас - наполовину пустые. Так, по крайней мере, показалось в полутьме. "Продает?

Хотя кому? Кто их сейчас покупает? Или сжег в печке то, что не так нужно? - подумал Лопатин о Виссарионе. - Чего только не происходит с книгами во время войны..."

Из передней было слышно, как женщины звякают посудой.

- Бедный Варлам, - вздохнул Михаил Тариелович. - С тех пор как ты мне это сказал, все время думаю о нем.

- Просто с ума сходит, - сказал Виссарион. - Когда провожал нас на поезд, отвел в сторону Тамару и заплакал: "А может быть, мы нашего Валико заживо похоронили? Почему так долго извещения не было? Может быть, это неправда. А мы уже отказались от него, похоронили..." Так, бедный, плакал...

- И все-таки у него остается надежда, если он так говорит, - сказал Михаил Тариелович.

- Нет, - сказал Виссарион. - Если бы у него была надежда, он бы сказал: "Не верю! Не буду его поминать, не буду ничего делать!" Это не надежда, это отчаяние. Когда ему его Нина неудачно родила девочку, и девочка умерла, и доктора сказали, что у них больше не будет детей, он говорил ей: "Не плачь. Бог дал тебе двух сыновей, чего ты еще хочешь от бога?" А теперь смотрю на него и не могу удержать слез. Вспоминаю, как он, когда Реваз родился, бросал в воздух тарелку и стрелял, разбивал на лету! Как он, когда Валико родился, стоя вместе со мной под окном родильного дома, говорил: "Не уйду, до ночи буду стоять, пока не покажут сына!" И такие люди теперь одни. Нашу Этери удержали у себя, просили не уезжать.

- Скажи, Виссарион, вот брат твоей жены обоих сыновей отдал и обоих потерял, а бывает у вас так, что откручиваются от фронта, откупаются? Неприятно спрашивать, но как раз сегодня в штабе фронта случайно услышал скверный разговор об этом.

Прости, что спросил тебя, но больше некого; там не захотел ввязываться в этот разговор.

- Конечно, откупаются, - сказал Виссарион. - Конечно, бывает. А разве у вас, в Москве, не бывает?

- Сам не сталкивался с этим, но допускаю, что и там бывает, -

сказал Лопатин.

- И у нас бывает. Подлые люди везде есть. И слабые люди везде есть. И готовые на все из-за денег везде есть. И готовые на все из-за своих детей везде есть... В городе бывает, в деревне - не слышал. В деревне все, кого призвали, идут. Когда мы сидели на поминках у Варлама, я посмотрел на Тамару и увидел по ее лицу, что она думает уже не о Варламе, не о его горе, а о нашем мальчике, о нашем Георгии. Что с ним, где он, что с ним будет? Думает о своем горе - что его нет с нею. "Боже мой! - подумал я. Не могу позволить, чтобы ты сидела и умирала рядом со мной от страха за нашего мальчика. Я должен что-то сделать, я мужчина!

Я всегда делал все, чего бы ты ни попросила, никогда ничего не боялся сделать для тебя. Неужели я сейчас не могу сделать этого для тебя? Я должен вернуть тебе твоего мальчика живым и здоровым, иначе ты умрешь у меня на глазах. Я должен это сделать, если я мужчина! Но если я мужчина, я не могу этого сделать, ты понимаешь? Вот в чем трагедия: если я мужчина!" Я смотрел на Тамару, а потом стал смотреть на соседей Варлама; я смотрел на них и знал, что почти каждая женщина уже лишилась или мужа, или сына, или брата. Почти все, кого там прошлой зимой призвали, попали в Крым, и похоронные пришли почти всем сразу, в июле. И Варламу на его старшего, на Реваза, и его соседям! Каждый день приходил почтальон. Я смотрел на них, собравшихся на поминки к Варламу, и на свою жену, которая сидела рядом со мной и умирала от страха за своего сына. А я, мужчина, ничего не мог сделать! Ты понимаешь это?

- И так до конца войны ничего и не сможешь сделать, - вдруг сказал Михаил Тариелович. - Пока он не вернется и не обнимет мать.

- Виссарион, идите к столу, - раздался голос Тамары. - А то мы уже накрыли и слышим, что ты говоришь. А ты говоришь лишнее, не надо этого говорить.

17

Мужчины вернулись в комнату, и Михаил Тариелович познакомил Лопатина со своею женой, которую тот никогда раньше не видел.

Мария Ираклиевна была высокая немолодая женщина, наверное, ровесница своего мужа. На ее лице было выражение какой-то отчужденности. Здороваясь, она продолжала думать о чем-то своем. У ворота ее глухого темного платья была приколота большая серебряная брошь с бирюзой, не драгоценная, но драгоценной старинной работы. Наверно, наследие какой-нибудь прабабушки, жившей во времена Грибоедова, одна из тех вещей, что носят всю жизнь и про которые думают, что только она и

может быть вот так приколота к платью у такой женщины, как эта.

- Садитесь сюда. - Тамара показала Лопатину его место. - А ты, Виссарион, принеси вино.

Виссарион вышел, поманив за собой Михаила Тариеловича, должно быть, вино предстояло налить из бочонка.

- Давно, с начала войны, не пил вина, - сказал Лопатин, с удивлением подумав, что это и в самом деле так.

- Чачи нет, не осталось, - сказала Тамара. - Но по-моему, вы раньше любили вино?

Это была правда - Лопатин когда-то любил вино. Но теперь ему казалось, что это было бог весть когда. Он окинул глазами стол. На столе стояла покрытая крышкой фарфоровая миска, наверно, с харчо, о котором говорил Виссарион. На одной тарелке лежали кукурузные лепешки - мчади, наверно привезенные с собой из деревни, на другой - полкруга деревенского сыра. Был еще соусник с чем-то темным, наверно, с ткемали, и салатница, полная красного, горячего, только что снятого с огня лобио.

По мирному времени это был бедный стол, а по-военному - богатый. Такой, за который теперь не часто садились люди. У приборов стояли граненые стаканы, ничего, кроме них. Виссарион и до войны любил пить из этих стаканов, по-крестьянски. Шутил, что рюмки падают у него из рук, когда пьет, должен покрепче обнимать вино, всей рукой, сразу, а не двумя пальцами!

Мария Ираклиевна села, а Тамара, махнув рукой Лопатину, чтобы не поднимался, сама не садилась, ожидая мужчин. Стояла и недовольно оглядывала стол. Хотя понимала, что теперь он богатый, все равно, по старой памяти, продолжала считать его бедным.

Поймав ее взгляд, Лопатин хотел сказать, что все очень хорошо и что он будет с наслаждением есть приготовленное ее руками лобио, но вдруг вспомнил, что как раз вот такое красное лобио в былое время почти никогда не ставили на стол при гостях. Это семейная еда, а для гостей ее варят, когда похороны или поминки...

Вспомнил и ничего не сказал.

- Вы уже два раза ранены, - сказала Тамара, задумчиво глядя на Лопатина. - Бедная девочка, она уже два раза могла вас лишиться.

Сказала о дочери, а не о жене, и Лопатин подумал, что хотя она ничего не знает о его семейной жизни, но какое-то женское чутье подсказало ей вспомнить его дочь, а не его жену.

Виссарион и Михаил Тариелович вернулись из кухни. Виссарион нес в руках две темные бутылки со старыми,

полусорванными этикетками восьмого номера кахетинского. Эти наклейки ничего не значили, потому что вино, конечно, было деревенское.

И то, что у Виссариона в руках были две бутылки, тоже ничего не значило. Он любил много пить, но не любил, когда на столе стояло много посуды. Потом принесет еще.

- Ты пил у меня это вино, - последним садясь за стол, сказал Виссарион. - Это то самое вино, которое ты пил. Год на год не приходится, но этот год как раз неплохой для вина, если бы...

Он не договорил, что если бы, - и стал разливать вино по стаканам. Он вел стол, как всегда: вел так, как привык, - не спеша и не медля, с отличавшей его искренностью. Правда, сказанная стоя, со стаканом в руке, по закону стола приобретала как бы особую, условно приподнятую форму. Но внутри нее продолжало сохраняться то чувство меры, без которой похвальное слово, поочередно обращенное ко всем сидящим за столом, превращается в бессмыслицу и вздор.

Две принесенные с кухни бутылки сменились еще двумя, а потом еще двумя, и Лопатину показалось, что Виссарион уже сказал все, что должен был сказать по праву хозяина стола. И он хотел перебить его и взять слово, чтобы выпить за их уехавшего на фронт сына, но Виссарион, догадавшись, не дал.

- Я благодарю тебя за то, что ты хотел сказать, но пока не кончилось вино... - Он долил вина женщинам и опорожнил последнюю бутылку, налив доверху стаканы мужчинам. - Пока не кончилось вино, мы выпьем за победу. Ничто, кроме нее, не вернет нам с войны наших детей. В том числе и нашего дорогого Гоги.

В том числе, - повторил он и выпил до дна.

Лопатин подумал, что это последнее вино, но Виссарион, не присаживаясь, ушел, взяв с собой бутылки, и вернулся с одной, полной.

- А это самое последнее вино, - разливая его по стаканам, сказал он, выпьем в память тех, кого нет. - Сказал это по-русски и, опустив голову, повторил по-грузински и выпил стакан, оставив на дне несколько капель. Вылил из стакана эти несколько капель вина на кусок лепешки и съел его, стоя за столом, все так же опустив голову и ни на кого не глядя.

Несколько мгновений все молча стояли над столом. Лопатин знал этот грузинский обычай - вот так пить за ушедших, смочив хлеб несколькими каплями вина. Но раньше ему это чем-то напоминало причастие, в котором тоже хлеб и вино. А сейчас со всею силой накопившейся за войну боли за всех на глазах и не на глазах у него умиравших людей почувствовал, что в этом есть

что-то еще более горькое, великое и простое, напоминавшее обо всем том, что уже полтора года всякий день и час происходило на войне.

И рядом со всем этим, происходившим на войне, евангельская история становилась просто историей еще одного самопожертвования, совершенного когда-то одним человеком ради других людей. Уже полтора года войны разные люди по-разному повторяли это самопожертвование, спасая ценой своей жизни жизнь других людей, ложась вместо них в землю без всяких надежд на вознесение, ложась безвозвратно, часто безвестно, а порой и бесследно.

Виссарион, когда пил за живых, сказал о победе. И так оно и было. Лопатин не представлял себе, когда будет эта победа и какой она будет, но мысль о жизни - и о чужой и о своей собственной - все равно связывалась с мыслью о победе. И в конце-то концов и то, что было под Москвой, когда немцы уже почти дошли до нее, и то, что произошло в Сталинграде, для многих людей, в том числе и для него, было самым настоящим воскресением из мертвых!

Учась в пятом классе реального училища и бегая по урокам, он уже не верил в бога. Но какие-то евангельские понятия, застрявшие с тех пор в голове, так и оставались для пего незаменимыми в духовном смысле. Не в смысле духа божьего, а в смысле его собственного человеческого духа.

Так было и сейчас. Он думал о живых и мертвых, стоя над этим столом, а на ум приходило: и "смертию смерть поправ", и "неси свой крест", и "воскресе" из мертвых, и даже те тридцать сребреников, которые получает современный Иуда, чтобы послать на войну сына одной матери вместо сына другой. Потому что без этого "вместо" нигде ничего не бывает, все равно вместо одного идет в тот же час кто-то другой...

Едва опустились за стол, как Михаил Тариелович, опередив Лопатина, снова поднялся и, налив стаканы до половины оставшимся в бутылке вином, сказал:

- За твое здоровье, Виссарион. Пью неполным стаканом, прости меня.

- А что тебе остается делать, когда не хватило вина? - сказал Виссарион. - За хозяина, у которого не хватило вина, можно не пить.

- В дни мира, но не в дни войны, - сказал Михаил Тариелович. - Будь счастлив. Виссарион, - и выпил свой стакан так медленно, как будто он был полным.

Виссарион поблагодарил и, не садясь, вышел из комнаты. Тамара улыбнулась Лопатину:

- Это он пошел искать для вас. Он думает, что у нас еще есть немножко чачи. Но ее нет. Когда мы узнали о несчастье бедного Варлама, я взяла ее с собой в поезд. Виссарион выпил и немного поспал. Он говорит про Варлама, что Варлам был как сумасшедший. Но когда он узнал о несчастье Варлама, он сам был сумасшедший, не помнит, что говорил и что делал. Василий Николаевич, что это за ужас был, этот Крым и эта переправа оттуда, на которой тонули дети! Шестнадцать погибших в одной деревне.

И все там. И половина из них мальчики!

- У тебя все мальчики, - хмуро сказал Михаил Тариелович. - Мальчик в восемнадцать лет не мальчик, а мужчина.

- Все равно, - сказала она. - Как это могло быть сразу, в одни и те же дни!

- Так вышло, что призыв из этой деревни почти весь попал туда с нашей грузинской дивизией... - Михаил Тариелович, как показалось Лопатину, испытывал неудобство оттого, что здесь говорилось только об этом.

- Я был там, Тамара, - сказал Лопатин. - В то самое время.

- Я читал все, что вы писали в "Красной звезде", - сказал Михаил Тариелович, - но об этом ничего вашего, по-моему, не читал.

- А чье вы читали об этом? - спросил Лопатин. - Вы об этом вообще ничего не читали. Слухом земля полнится - вот и все, что вы об этом знаете. И все, что знал бы я, если бы не видел своими глазами.

- Расскажите, - впервые за все время сказала жена Михаила Тариеловича.

- Простите, нет желания, - сказал Лопатин.

- И вы все, что там было, видели? - спросила Тамара, облокотясь на стол и пристально глядя в глаза Лопатину.

- Всего, что там было, наверно, никто не видел, - сказал Лопатин. - А того, что я видел, с меня достаточно.

Но она продолжала все так же, подперев лицо рукой, испытующе смотреть на него.

- И может быть, вы видели там этих мальчиков? Видели погибшего сына Варлама. Он был такой красивый, храбрый мальчик. Его младшего брата призвали, а Реваз ушел сам, добровольцем.

- Все может быть, - сказал Лопатин, подумав про себя, что и правда все может быть.

Да, он мог видеть мальчиков, о которых думает эта женщина.

И среди них мальчика, который был ее племянником и, оказывается, ушел добровольно, не дожидаясь, когда его

призовут. Он мог видеть их, потому что был как раз в этой дивизии, когда все началось, был и видел, как гибли кругом под обстрелом и бомбежкой и эти мальчики, и обросшие многодневной щетиной, одетые в шинели грузинские крестьяне, немолодые, но казавшиеся еще старше от этой многодневной щетины. И видел потом общий поток отступления. Поток оглушенных неожиданностью происшедшего людей, спешивших вырваться из окружения, скорей пересечь открытую, беззащитную, похожую на страшный полигон для бомбежки, обычно безлюдную, а тут усеянную живыми и мертвыми степь Керченского полуострова. Да, он видел там отступавших по ней людей - русских, и украинцев, и азербайджанцев, и армян, и грузин, все они шли по пей, все приникали к ней под бомбами. Да, он мог видеть там и ее мальчиков из села Касни, откуда она вернулась с поминок. Но ему не хотелось говорить об этом. Он был благодарен переменившемуся времени. То, что происходило теперь в Сталинграде, и на Дону, и в Сальснпх степях, и здесь, на Кавказе, помогало не то что забыть - забыть этого нельзя, - но хотя бы отложить куда-то на будущее мысли, почему тогда под Керчью все так получилось. Время оттесняло кх потому, что, как бы там ни было, все равно на войне сегодняшний день важнее вчерашнего.

Он вспомнил бомбежку там, в степи, в первый день трагедии, когда еще не поняли, чем это кончится, как он ехал с коноводом из штаба армии в дивизию, и как их застала в открытой степи эта бомбежка, не на передовой, а еще в тылах, и как под этой бомбежкой рота застигнутого на марше пополнения, плохо обученные люди, вместо того чтобы пошире разбежаться по открытой степи и лечь порознь, ложились кучками, словно они могли еще чем-то помочь друг другу, если будут вместе. И хотя это было вопреки инстинкту самосохранения - ото был тоже инстинкт, еще более сильный: не оказаться одному перед лицом смерти, быть рядом с кем-то. Они с коноводом спешились. Сначала хотели лечь на землю, держа лошадей на длинном поводу, но, напуганные воющим пикированием "юнкерсов", лошади плясали и рвали поводья.

И лечь было нельзя, потому что лошади бы убежали, а надо было ехать дальше. А стоять было страшно даже между двумя лошадьми. Коновод сделал такое движение, словно хотел взять у него повод и дать ему возможность лечь. Ыо как ни тянуло Лопатина броситься на землю, он не принял этого молчаливого самопожертвования и продолжал стоять вместе с коноводом, стараясь прикрыться лошадьми и борясь с ними, чтобы не вырвали поводьев.

И оттого, что лошади бесновались и было трудно их удержать, хотя бомбежка еще продолжалась, необходимость делать что-то еще, а не только бояться за свою жизнь, уменьшала страх...

Виссарион вернулся с недовольным видом.

- Я искал для тебя чачу. Где-то она была, в какой-то бутылке.

Правда, немного. Ты не знаешь? - спросил он Тамару.

- Нет, не знаю.

- У вас все такое же вкусное ткемали, - сказал Лопатин, обмакнув кусочек лепешки в подливку.

- Это не мое, - сказала Тамара. - Я не варила в этом году.

- Хотите, я прочту вам стихи? - спросил Лопатин.

Он снова вспомнил, как их мальчик Гоги читал тогда стихи Бараташвили. Лопатин тоже помнил их наизусть и тоже любил их, и ему захотелось прочесть их сейчас матери этого мальчика за этим столом, как живое напоминание о нем, о том, что он был здесь и снова будет. Он так и сказал:

- Я прочту то, что читал когда-то ваш Гоги. Тогда он читал, теперь я, а следующий раз будет снова он. А я приеду послушать.

Он слыхал от грузин, что стихи, которые он собирался прочесть, переведены далеко от подлинника, но все равно хотел прочесть именно их:

Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву нных начал.
И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам.
Он прекрасней без прикрас.
Этот цвет любимых глаз.
Этот взгляд бездонный твой,
Напоенный синевой.
Это цвет моей мечты,
Это краска высоты,
В этот голубой раствор
Погружен земной простор,
Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах моих.
Это синий, негустой
Иней над моей плитой.

Это сизый зимний дым
Мглы над именем моим.

Сейчас, за этим столом, стихи звучали совсем не так, как они звучали когда-то. Тогда это были стихи рано умершего Бараташвили, написанные о собственной судьбе и предугаданной смерти. А теперь это были стихи не о том, что было сто лет назад, а о том, что сейчас, о собственной судьбе и собственной смерти.

Конечно, они напоминали об этом и тогда, но не с той остротой, совсем не с той остротой, что сейчас...

Он закончил и по глазам Тамары понял, что она чувствует то же, что и он, и думает не о Бараташвили, а о сыне.

- Еще, - сказал Виссарион. - Я люблю, когда ты читаешь стихи.

И хотя Лопатин не думал раньше читать этих строф из слышанной недавно в Москве поэмы одного из их общих с Виссарионом друзей, но стихи Бараташвили, все это синее и голубое в них вдруг напомнили ему строчки: "Синий, синий..."

И, еще не ведая, что творит, он начал читать прямо с этих строчек:

Почему в глазах твоих навеки
Только синий, синий, синий цвет?
Или сквозь обугленные веки
Не пробьется никакой рассвет?
И тогда, из дали неоглядной,
Из далекой дали фронтовой
Отвечает сын мой ненаглядный
С мертвою горящей головой:
"Не зови меня, отец, не трогай,
Не зови меня, о, не зови!
Мы идем нехоженой дорогой,
Мы летим в пожарах и крови.
Я не знаю, будет ли свиданье.
Знаю только, что не кончен бой.
Оба мы - песчинки в мирозданье,
Больше мы не встретимся с тобой..."

- У него сын погиб, - сказала Тамара.

Она безошибочно поняла, что эти стихи не могли быть написаны о ком-то другом. Могли быть написаны только о своем сыне и своем горе.

- Да, - сказал Лопатин, казня себя за то, что прочел их.

- Бедный Павел, - сказал Виссарион. - Значит, правда, что его сын погиб. Я сразу понял, когда ты начал читать. Сколько ему было лет?

- Восемнадцать, - сказал Лопатин, понимая, что, чем дальше он будет отвечать на вопросы, тем будет тяжелее, но не отвечать

было уже нельзя. Не отвечать значило думать на их глазах о смерти их сына, бояться похожего.

- А где это было? - спросил Виссарион.

- Под Москвой. Он называл мне это место, но я забыл.

- А кем он был? - снова спросил Виссарион.

- Младшим лейтенантом.

Потом молчали. И было в этой потрясенности людей, думавших и о чужом и о своем, что-то глубоко человеческое. Такое же глубоко человеческое, как и в непривычно звучавшем слове "дети".

Дети - об ушедших на фронт. Да, дети. Да, не отмененное, а только оттесненное войной, грустное в своей силе, горькое в своих предчувствиях, но все-таки нормальное, именно нормальное человеческое чувство ценности человеческой жизни. И даже не ценности, а бесценности и невосстановимости никак и ничем.

- Скажи, сколько обычно человек в пехотном взводе? - вдруг спросил Виссарион.

- Человек сорок - пятьдесят, - сказал Михаил Тариелович.

Он был участником первой мировой войны и, наверно, вспомнил о ней.

- Сейчас нет, - сказал Лопатин. - Сейчас двадцать пять - тридцать. А в ходе боев, конечно, меньше.

На сколько меньше, остановился, не сказал. Да и как это сказать, когда понимаешь, почему спрошено.

- Ну, пусть двадцать пять, - сказал Виссарион. - Все равно не могу понять, как он может командовать двадцатью пятью людьми, когда ему нет девятнадцати лет.

Сказал о сыне с такой тоской в голосе, что Лопатин понял:

когда полгода назад сын пошел не прямо на фронт, а на пехотные курсы младших лейтенантов, может быть, Виссарион и помогал, и где-то в глубине души хотел хоть немножко отодвинуть сына от смерти этими курсами, а сейчас вдруг представил себе, как ему там на фронте, как он командует двадцатью пятью солдатами, которые почти все старше его. Хотел отодвинуть от смерти, а может быть, наоборот, придвинул к нем. "Об этом скажет свое последнее слово только война", - подумал Лопатин и увидел глаза Тамары, тревожно смотревшие на Виссариона.

Нет, в этом доме все совсем не так, как кажется с первого взгляда! Еще неизвестно, кто из них двоих больше умирает от страха и тревоги за сына, он или она, и кто из двоих сильней, и кто из них первым найдет в себе силы жить дальше и поведет за руку другого, если, не дай бог, и в этом доме случится беда.

Виссарион прослезился, вытер глаза рукой и сказал:

- Иногда завидую Мише. Оказалось, что он больше мужчина, чем я.

- Большим мужчиной, чем ты, невозможно быть, Виссарион, - Михаил Тариелович улыбнулся, не принимая того горького тона, которым сказал это Виссарион. - Просто мой Вахтанг - давно мужчина, и давно в армии, и давно на войне. А твой Гоги еще год назад был мальчиком. И ты, мужчина, етцэ не можешь привыкнуть к тому, что он тоже мужчина. И мы с Маро пять лет назад не могли привыкнуть, что наш Вахтанг сам поднимается в воздух.

Как так, без нас, сам поднимается в воздух?

"Так вот откуда "от винта"! - подумал Лопатин. - Значит, его сын летчик. О том, что сын Миши на фронте, Виссарион, когда пил за здоровье их семьи, сказал, а кто он, не сказал".

- Где он у вас летает? - спросил Лопатин.

- В Ленинграде. Он в морской авиации, - сказал Михаил Тариелович. - Он, как и я, немножко ленинградец: я был перед началом той войны, а он стал в начале этой. А вы не были в Ленинграде? По-моему, я ничего вашего не читал.

- Не был, - сказал Лопатин. - Два раза собирались послать туда, но в последний момент отправляли на другие фронты.

- Как у Блока, - сказал Михаил Тариелович. - "Жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай". Почему смеетесь?

Не любите Блока?

- Нет, собственным мыслям.

Лопатин усмехнулся потому, что, услышав эти строчки Блока, вспомнил редактора, в кабинете у которого его обычно "подстерегал случай", и подумал, что редактор, наверно, не читал Блока. "Двенадцать", конечно, читал, а что-нибудь другое - навряд ли.

- Нет, я люблю Блока, - сказал он вслух. - И как раз "Возмездие" больше всего.

- Помните? "Стоит над миром столб огня..." - прочел Михаил Тарпелович и остановился, ожидая, что Лопатин подхватит.

Но Лопатин не подхватил, и он дочитал до конца строфы сам:

И в каждом сердце, в мысли каждой
Свой произвол и свой закон.
Над всей Европою дракон,
Разинув пасть, томится л;аждой.
Кто нанесет ему удар?
Не ведаем. Над нашим станом,
Как встарь, повита даль туманом
И пахнет гарью. Там пожар.

Дочитал и остановился. Лопатин смотрел на женщин. Они молча сидели рядом, чем-то похожие, а чем-то непохожие друг на друга. Может быть, тем, что одна из них была матерью воина, а другая - матерью ушедшего на войну мальчика. Две грустные грузинские женщины, и у каждой из двух - своя грусть. У одной - старая, устоявшаяся и при всей своей глубине и силе все равно уже привычная. А у другой - новая, только что возникшая, режущая, как битое стекло.

Да, именно так, как у Блока:

И в каждом сердце, в мысли каждой

Свой произвол и свой закон...

Хотя у него сказано совсем не о том, но, наверно, в этом и есть главный смысл поэзии. Сказано об одном, а думаешь о другом.

Сказано о других, а думаешь о себе.

- Мне надо идти. - Лопатин поднялся.

Виссарион стал удерживать его, предлагал остаться заночевать, и он подумал, что Тамара, наверно, как это бывало раньше, присоединится к мужу. Но она не присоединилась, сказала:

- Отпусти его, Виссарион. Если он останется у нас ночевать, ты не дашь ему покоя. А ему нужно поспать перед дорогой.

Сказала не как о госте, которого по правилам гостеприимства надо удержать в доме, а по-матерински просто, словно он был но сорокашестилетним человеком, а товарищем ее сына, уезжавшим туда же, куда уехал он. И, прощаясь в темной передней, при свете огарка, обняла и перекрестила уже одетого в полушубок Лопатина.

Михаил Тариелович с женой жили через три дома, и, простившись с ними, Виссарион пошел дальше провожать Лопатина.

- А у тебя есть ночной пропуск? - спросил Лопатин.

- Есть, - сказал Виссарион. - Я же теперь служащий, могут вызвать в любую минуту. - И, пройдя несколько шагов, спросил: - Как думаешь, попадешь к нам в Тбилиси, когда будешь возвращаться с фронта?

- Навряд ли. Если дела пойдут хорошо, скорей всего полечу в Москву прямо оттуда, где окажусь. И так вышло целое кругосветное путешествие. Даже опоздал к началу наступления. Ответь мне, Тамара верит в бога?

Виссарион ответил не сразу. Несколько шагов шел молча, потом сказал:

- Не говорил с ней об этом. Но думаю, сейчас верит. Раньте не верила, а сейчас верит. Как и многие. Иногда и самому хотелось

бы верить. И жаль, что не можешь, - добавил он, снова помолчав.

"Да, это верно, - подумал Лопатин. - Иногда жаль, что не можешь. Несколько раз за войну было жаль, когда думал, что уже не выберешься и не увидишь с того света, как все будет дальше".

- Выезжаешь в восемь? - спросил Виссарион, когда они ужо дошли до редакции и остановились у подъезда.

- В восемь.

- Правильно, лучше не задерживаться. Как там со снегом на Крестовом перевале?

- Говорили, что лежит, но машины идут. Чистят и пробиваются.

Они молча обнялись. И Виссарион уже после этого еще на секунду задержался - кажется, хотел сказать про сына, чтоб постарался увидеть его! Наверно, так. Хотел, но не сказал, повернулся и пошел.

18

По дороге на перевал несколько раз застревали в снегу или стояли и ждали, когда пробьются застрявшие впереди машины. Но все-таки, выехав в восемь, к двум часам дня добрались до перевала.

Старый курортный ресторанчик был наполовину заметен снегом снаружи. А когда вошли в него, оказалось, что и внутри под выбитыми окнами намело сугробы. И все-таки в углу в полуразвалившемся очаге горел огонь, и несколько человек, сгрудившись у очага, жарили на палочках шашлыки.

Лопатин прихватил из машины опустевший за дорогу вещевой мешок, и они втроем - с тассовцем и водителем - тоже пристроились внутри - перекусить. Перекус был небогатый: сухари и кусок сыра да холодный чай во фляжке у тассовца.

Трое жаривших шашлыки грузин - водители шедших через перевал грузовиков - сначала потеснились у огня, а потом протянули по палочке шашлыков. Отказаться не было сил, и Лопатин с наслаждением сжевал несколько тощих кусочков полусырой, пропахшей дымом баранины. К несчастью, не оказалось ничего выпить - ни вина, ни водки ни у них, ни у поделившихся с ними хозяев огня.

Съели шашлыки, запили чаем и, поблагодарив, поехали дальше.

Теперь уже вниз и почти без задержек. Водитель тассовской "эмки", молоденький солдат-грузин, гнал вовсю по петлявшей туда и сюда дороге. До перевала он был неразговорчив, переживал, что не удается никого обогнать, а теперь, показав свою удаль, рискованно обогнав два десятка машин, повеселел и стал рассказывать, как хорошо было здесь все до войны. Лопатин

знал это, но не перебивал. Слушать, как здесь все хорошо было раньше, было почемуто приятно.

- Братья есть? - спросил Лопатин.

Оказалось, что нет. Есть четыре сестры, а сын он единственный. "Еще один мальчик, - подумал о нем Лопатин, вспомнив вчерашние разговоры. - И тоже единственный, как у Виссариона.

И тоже на какой-то тбилисской улице боятся за него. Хотя и с меньшими основаниями, чем Виссарион. Одно дело - младший лейтенант в пехоте, другое дело - водитель у корреспондентов.

Но мать и сестры все равно боятся именно за этого. И я бы, наверно, несмотря на все доводы рассудка, боялся за него, будь он моим сыном. Все-таки хорошо, когда у тебя никого нет на фронте. И когда не ты сам думаешь о ком-то, а кто-то другой - о тебе.

Сестра думает, дочь думает... И еще та женщина в Ташкенте... С Ташкентом два часа разницы; сейчас там шесть, уже вечер..."

Он уже знал, что не напишет ей письма, пока не вернется в Москву. И не только потому, что неизвестно, сколько оно пройдет полевой почтой отсюда, с Кавказа, в Ташкент, а еще почему-то.

Словно он будет вправе написать ей, только еще раз съездив и еще раз вернувшись...

Тассовец спал, нахлобучив ушанку, отвалясь головой в угол машины. На поворотах его тяжело, всем большим телом, бросало на Лопатина и обратно, к стенке, но он не просыпался. Его голову мотало из стороны в сторону, но на молодом лице была написана полная безмятежность. А глаза были так крепко зажмурены, словно он дал зарок проспать до конца всю дорогу. Так самоотверженно спят только после бессонной и счастливой ночи, проведенной с женщиной.

Вечером, в темноте, заправляясь бензином на окраине Орджоникидзе, уже решили было там и заночевать, но, пока заправлялись, разговорились с подъехавшим к заправке на другой "эмке"

капитаном из дорожного управления фронта, и тот сказал, что, по его сведениям, штаб Северной группы войск находится или в Прохладном, или около и он думает быть там к ночи.

Лопатин, как это водилось с ним, когда он добирался до фронта, пожадничал и спросил у водителя, в силах ли тот ехать дальше.

- Почему не в силах? Они тоже из Тбилиси едут! Машина одинаковая "эмка". Мы их на перевале обогнали, у них радиатор кипел, у нас - нет. Раз они доедут, мы доедем!

И в двенадцатом часу ночи все-таки доехали.

Проснувшийся в Орджоникидзе тассовец предлагал водителю поспать, повести вместо него машину, но тот не уступил руль и через силу, но доехал до Прохладного сам.

Ночевать воткнулись прямо в комендатуре. Искать ночью чтонибудь другое сил уже не было, хотя комендант подтвердил, что второй эшелон штаба Северной группы войск находится еще здесь, в Прохладном, а командование перебралось на пятнадцать километров дальше в сторону Минеральных Вод. В одной половине дома помещалась сама комендатура, а в другой, на нарах, сбитых во всю длину, вповалку спали люди. Там и примостились на ночь.

Водитель хотел ночевать в машине, боялся ее оставлять, но Лопатин проявил несвойственную ему в начале войны, но за полтора года приобретенную настойчивость и добился разрешения загнать машину во двор комендатуры. Водитель слил воду, заполз на нары между Лопатиным и тассовцем и заснул раньше, чем лег.

Когда Лопатин проснулся, было уже светло. Ни водителя, ни тассовца не было - наверно, поехали выяснять обстановку.

Лопатин сел и спустил ноги с нар. Рядом с ним сидел всклокоченный человек - должно быть, тот самый, который ночью мешал ему спать, несколько раз будил его, крича сквозь сон и раскидывая в стороны руки. Один раз даже засветил со всего маху по физиономии.

Лопатин искоса посмотрел на него, потирая ушибленную, до сих пор болевшую скулу.

- Здорово вы пихались во сне, - сказал он. - Сдачи хотелось дать.

- Возможно, - сказал сосед. - Сплю беспокойно.

У него на петлицах были значки военюриста, запекшаяся ссадина во всю щеку и под глазом огромный отек от ушиба.

- Часом, не сами себя стукнули во сне? - спросил Лопатин.

- До этого не дошло. Наяву навернулся, когда приземлялся под бомбежкой.

- Сильно бомбят?

- Не особенно. Но вчера не повезло.

Они познакомились, и военюрист объяснил Лопатину, как ему вчера не повезло, а верней, повезло. Не повезло другим. Вчера утром, только что выехав отсюда, из Прохладного, в сторону фронта, они попали со своей "эмкой" под бомбежку. "Эмка" сгорела, а всех трех его спутников председателя трибунала, машинистку и водителя - убило прямым попаданием у машины, там, где легли.

Он тоже выскочил из машины рыбкой, но в другую сторону,

чем они, и только ударился лицом о мерзлую землю.

- Вчера задержался, чтобы похоронить их, - сказал военюрист. Он, покривясь от боли, усмехнулся, но на его наполовину белом, наполовину сине-багровом лице вышла не улыбка, а гримаса. - Поеду теперь работать, как в первые дни Советской власти. Все законы у меня сгорели и кодексы тоже. И трибунал убитый.

Из дальнейшего разговора, когда выпили по кружке чая, выяснилось, что этот военюрпст - прокурор в армии Ефимова - будет сегодня добираться до своих. Штаб армии к ночи был в районе взятого вчера утром поселка Советское, в тридцати пяти километрах на северо-запад отсюда.

- Поедем вместе, - сказал Лопатин. - Мой товарищ вернется, уговорю его. Я тоже хочу прямо к Ефимову.

Тассовец, который, как и предполагал Лопатин, ходил за информацией, вернувшись, сказал, что наступление по прямой на Минеральные Воды вчера замедлилось: немцы усилили сопротивление, но правее, в обход Минеральных Вод, по-прежнему идет быстрое продвижение.

- Как раз у вашего Ефимова, - добавил он, зная из вчерашних разговоров, что Лопатин знаком с Ефимовым.

- Вот давайте прямо с утра туда и махнем, - сказал Лопатин.

Но тассовец не хотел махнуть туда прямо с утра, а хотел, наоборот, задержаться в Прохладном, где через час должен был начаться траурный митинг, после митинга сходить на узел связи, а потом сообща разобраться с машинами, чтобы им, тассовцам, двигать дальше уже на своей, а краснозвездовцам - на своей.

Однако Лопатин, заранее вбив себе в голову что-нибудь связанное с работой, но любил отступать и, уломав тассовца, добился своего. Договорились, что Лопатин сразу после митинга все-таки поедет к Ефимову и завтра к вечеру вернется сюда, а тассовец, оставшись здесь, напишет и отправит свой материал о митинге в Москву. Он считал, что это важней, чем несколько строк о взятии еще какого-нибудь населенного пункта, и по-своему был прав.

Водитель поехал добывать горючее, а Лопатин пошел на митинг вместе с прокурором и тассовцем.

Когда дошли до привокзальной площади, митинг уже начался.

На грузовике с откинутым бортом стоял худой батальонный комиссар. Он говорил с непокрытой головой, стискивая в руке ушанку и от волнения напрягая голос так, словно площадь была очень большая, хотя она была маленькая.

Рядом с батальонным комиссаром в кузове грузовика стояли мужчины и женщины в гражданском, те, кто должен был

выступить вслед за ним. Вокруг грузовика стояла толпа, тоже гражданских. Не так уж много, но на этой маленькой площади казалось, что их все-таки много.

С утра морозило. Площадь была в ямах и выбоинах, затянутых тонким, ломавшимся льдом. Грязный снег был разъезжен колесами и растоптан людьми.

Люди, собравшиеся на площади, были оборванные, истощенные, придавленные оккупацией, еще не распрямившиеся от нее.

Такие, словно не только по этому грязному снегу, лежавшему на площади, а по ним самим проехала колесами и прошла ногами война.

Говоривший с грузовика батальонный не был опытным оратором, из тех, кто заранее знает, что и в каком порядке надо сказать.

Он перескакивал с одного на другое, возвращался, вспоминал забытое, повторял сказанное, то запинался, то переходил на крик, то забывал фамилии убитых немцами людей и замолкал, утыкался в список и заново повторял их. Но во всей его неумелой, неораторской речи было что-то, что сильнее всякого умения говорить: он говорил об убитых и замученных с такой силой сострадания, словно сам только что воскрес из мертвых и вылез из могилы, где лежал вместе с ними, словно всего, что было, могло не быть, словно когото еще можно было воскресить, позвать обратно, сюда, к живым людям, оттуда, из противотанковых рвов и известковых ям, где они были закопаны.

К концу его речи Лопатин оказался гораздо ближе к грузовику, на котором он стоял. Пока батальонный говорил, толпа все подвигалась и подвигалась.

Наконец, истратив весь голос, словно его и надо было весь до конца истратить здесь, на площади, перед этими людьми, словно после всего сказанного он уже никому не будет нужен, батальонный сорванно, хрипло прокричал: "Смерть немецким оккупантам!" - и поднял зажатую в руке шапку, но не надел, а наотмашь вытер ею глаза и без голоса, одними губами сказал что-то стоявшему рядом с ним мужчине в гражданском - должно быть председателю райисполкома. И тот, тоже стащив шапку и как-то отчаянно мотнув головой, стал громко одно за другим добавлять имена и фамилии людей, еще недавно живших здесь, на этих улицах, вокруг этой площади, а сейчас уже неживых. Называл сначала фамилии, а потом каждый раз полностью имена и отчества, словно читал какой-нибудь документ, хотя говорил по памяти. И, вставив между двумя мертвыми слова: "А еще..." - снова называл фамилию, имя и отчество. И опять "а еще", и опять

фамилия и имя-отчество. И опять "а еще". И от этого "а еще" казалось, что он никогда не кончит.

После него говорила старая женщина, похожая на учительницу.

Начала ровно, спокойно, даже заглядывала в бумажку. Потом заплакала. Снова прочла несколько фраз по бумажке и снова заплакала и, махнув рукой, отвернулась.

А потом взрослые подтолкнули вперед девочку. На ней была шинель с обрезанными полами и солдатская ушанка, наверно доставшиеся с какого-то мертвого, потому что живые солдаты не носят при себе по две шинели и ушанки, чтобы давать их девочкам. Из-под ушанки у нее торчали в стороны две косичкн.

Лицо было спокойное, а руки она, как только вышла, заложила назад за спину, как будто собиралась читать стихи на школьном вечере.

Она говорила, держа руки за спиной, и лицо у нее было спокойное, и голос тоже. Ровный, тонкий, хорошо слышный, мертвенно-спокойный голос, которым она рассказывала оттуда, с грузовика, как немцы повесили ее отца и мать и как все это было, потому что все это было у нее на глазах. И говорила о них: не отец и мать - а каждый раз называла их: папа и мама. И в том, как она их называла - папа и мама, - этим своим тонким, хорошо слышным голосом, было что-то невыносимое.

Толпа начала шевелиться и всхлипывать. А она все повторяла оттуда, с грузовика, своим тонким, ровным голосом: папа, мама, папа, мама.

Уже давно ехали по степи, а у Лопатина в ушах все еще стоял этот голос.

Прокурор, сев в машину, долго молчал, а потом сказал, что вчера днем, когда хоронил товарищей, встретился с врачами, производившими эксгумацию сваленных в известковые ямы взрослых и детских трупов; врачи говорят, что эти люди были умерщвлены каким-то еще неизвестным способом; есть уже два показания жителей, что у немцев работала какая-то газовая машина смерти...

- Что за машина? Никогда раньше не слышал, - сказал Лопатин.

- Неизвестно, какая машина. Пока не захватили. Но двое показали, что она была здесь. А медицинская экспертиза заставляет думать, что смерть наступила от удушья.

Прокурор замолчал, и Лопатин не стал больше расспрашивать про эту газовую машину. Он уже привык, что на войне, где всегда в достатке действительно страшного, вдруг то здесь, то там вспыхивали слухи о всяких страстях-мордастях, в

которые он обычно не верил: то об отравленных пулях, то о фашистских смертниках, прикованных цепями к пулеметам...

"Газовая машина", - подумал он и мысленно перевел на немецкий во множественном числе: газмашинен. И оттого, что сначала перевел, а потом мысленно произнес по-немецки, в этом слове появилось что-то реальное и неумолимое: "Газмашинен"...

Они ехали все дальше и дальше по голой степи. И чем дальше ехали, тем все ближе надвигалась на них война своими уже привычными приметами. Санитарный автобус, грузовики с пустыми снарядными ящиками - это оттуда, навстречу. Потом жиденькая колонна пленных - человек в двадцать с двумя конвоирами - тоже оттуда. Потом неполная, человек в пятьдесят, рота должно быть, пополнение - туда. Воронки справа от дороги, потом слева, потом опять справа. И около одной из них - торчащая из-под снега черная нога. Испуганно шарахнувшаяся в сторону от машины собака с костью в зубах. Немецкий танк со свороченной башней, а немного подальше, прямо на дороге, сгоревший бронетранспортер, тоже немецкий.

Чувствовалось, что наступление шло здесь пока что без больших боев. Наверно, немцы поспешно отходили, прикрываясь подвижными заслонами.

Объехав бронетранспортер, обогнали солдата, шедшего, опираясь на дрючок, в сторону фронта. Лопатин приказал водителю остановиться и, открыв дверцу, спросил дохромавшего до машины солдата, куда он идет.

Солдат объяснил, что имел вывих ноги; идет из госпиталя, догоняет свою часть. И, не дожидаясь дальнейших вопросов, полез в карман за медицинской справкой.

- А где она, ваша часть? - не став смотреть справку, спросил Лопатин.

Солдат махнул рукой вперед.

- Говорят, вчера в Советском была. Скоро развилок будет с указателем: "На Соломенское". А мне от этого развилка влево.

Соломенское был тот пункт, где, как предполагалось, сегодня, с утра, находится оперативная группа армии Ефимова, и Лопатин сказал солдату, чтобы садился в машину - подвезет его до развилки.

Солдат был из тех, кого в армии числят старичками, и оказался словоохотливым. Пока ехали пять километров до развилки, оы, радуясь собеседникам, отвечал на вопросы Лопатина о первых двух днях наступления, дальше он ничего не знал, потому что как раз подвихнул ногу, а потом рассказал про себя, что в молодости на гражданской воевал здесь же, недалеко, в Ногайской степи, в отрядах по борьбе с бандитизмом, а в эту

войну уже два раза ранен и имеет "За отвагу"; что сам из-под Барвенкова, вдовый и бездетный, жена померла перед самой войной, а хата, как написали соседи, от немца сгорела; только это и успели ему написать, перед тем как немцы во второй раз заняли Барвенково, и теперь у него одна дума: после войны найти где-нибудь вдову при хате и присоединиться к ней.

- Если смерть миную, - добавил он строго, без улыбки. - Смерть салопница; она, жадюга, кого хочешь подгребет, ей все годны. Главное, чтоб не зря пропасть. Сперва доказать, а после умереть. Так и так, если живой будешь, все равно не навсегда!

В мои года даже при лучшем настроении больше двух десятков навряд ли прожить! Я, когда в бою, располагаю так: чему быть, того не миновать. Располагаю так: хоть трясись, хоть пой, хоть плачь, а уж от пули не уйдешь, коли она вышла тебе. По одному веку всем дадегю, а двух веков никому не жить. Раз напал враг, надо что-то с ним делать. А что с ним сделаешь? Не ты его, такой тебя.

Он говорил все это без удальства, с верой в правоту и силу своих слов. Хотя, конечно, говорил не в первый раз и не первому человеку, и чувствовалось, что считает свои слова поучительными для других. Но в то же время это был его собственный, действительный взгляд на жизнь и смерть. Взгляд, в соответствии с которым он поступал на войне так, а не иначе.

"Да, так и есть, раз враг напал, надо что-то с ним делать, - подумал Лопатин. - Короче, сколько ни думай, не скажешь".

Он вспомнил великую актрису, хотевшую знать, как ей там, в Ташкенте, ставить пьесу о войне, и без самоуничижения подумал, что, как ни старался, все-таки не сумел дать ей почувствовать то, что сам чувствовал сейчас, слушая этого солдата, самого главного на войне человека, который в конечном счете сам за себя решает, как ему быть: лечь или подняться, выстрелить или не выстрелить, побежать или устоять. И при всей вере в силу приказа, и даже при всем значении этой веры - все равно это так!

У развилки лежал на боку длинный немецкий штабной автобус. На его продырявленной осколками крыше какой-то остроумец выцарапал штыком: "Что такое вас не дас? Немцы драпают от нас!" А рядом была прибита дощечка с указателем: "На Соломенское".

Солдат вылез и, прихрамывая, пошел по переметенной снегом дороге налево, а машина поехала направо, к Соломеискому.

По дороге уже без указателя, наугад, свернули еще раз вправо и ошиблись: выехали не к Соломенскому, а к трем домикам у подножия круглого, похожего на курган холма; в них стоял штаб

дивизии.

До этого все по дороге было или разбито, или сожжено, а эти домики были пощажены войной. Но война была здесь ближе, чем там, по дороге. Вышли из машины, и сразу стало хорошо слышно, как невидимые отсюда, за холмом, отрывисто бьют наши пушки.

Где-то совсем близко были их огневые позиции.

Майор, начальник штаба дивизии, посмотрев документы Лопатина, сказал, что они заблудились, взяли километров на восемь вправо. Чтобы попасть в Соломенское, в оперативную группу штаба армии, надо возвращаться и брать влево. Но если Лопатин хочет увидеть командующего армией, то командующий как раз здесь.

Приехал в их дивизию, потому что остановилось продвижение.

Немцы впереди, на рубеже Горькая балка, оказывают сопротивление. Если по прямой - в трех километрах. Командующий с командиром дивизии на наблюдательном пункте, на следующей высотке, в двух километрах отсюда.

- Как обогнете наш курган, прямо перед собой ее увидите.

Если поедете, - добавил майор.

- Поеду, - сказал Лопатин.

Ехать сразу же туда, вперед, не хотелось, но что-то не позволяло остаться тут, не доехав до командующего армией, который там.

- Повнимательней только, - сказал майор. - Он снаряды бросает, бьет беспокоящим. А так не запутаетесь, дорога одна!

Прокурор остался в штабе дивизии, а Лопатин сел в машину и поехал. И как только выехал из-за кургана, понял, что путаться и правда негде. Впереди, в двух километрах, полого поднималась еще одна высотка, с длинным кирпичным строением у подножия.

По сторонам от наезженной в неглубоком снегу колеи попадались воронки с разбросанными вокруг них черными комьями вывороченной земли.

Лопатин опустил стекло и, высунувшись, смотрел вперед. Он боялся обстрела. С отвычки боялся больше обычного и знал, что боится.

Вдали справа были видны огневые позиции нашей артиллерии. Она стреляла вперед, за высотку. И хотя это били свои пушки, все равно в их выстрелах было что-то тревожное. Тоже с отвычки.

В кирпичном строении у подножия высотки, наверное, была раньше животноводческая ферма. Все стекла выбиты, ворота сорваны; к одной стене привалена гора занесенного снегом навоза, к другой приткнулись "эмка" и "виллис".

Лопатин приказал водителю приткнуть машину рядом с ними и, взяв с сиденья полевую сумку, которая до этого лежала в чемодане, надел ее через плечо поверх полушубка.

- Товарищ майор, зачем здесь остановились? Такой подъем - почти до верха можем взять! - азартно предложил водитель.

- Верю, что можете, но все-таки ждите меня здесь, - улыбнувшись его задору, сказал Лопатин и стал подниматься по склону.

Он поднялся вдоль провода связи почти до вершины и уже видел головы и спины людей, стоявших на гребне в неглубоком змеевидном окопе. Один из них, смотревший туда, за высотку, оторвался от бинокля и повернулся. А в следующую секунду позади Лопатина разорвался первый снаряд.

До окопчика было шагов тридцать, и, наверное, надо было попытаться добежать до него. Но Лопатин бросился плашмя на землю, больно ударившись грудью о свою неловко подвернувшуюся под ребра полевую сумку.

Немцы били по высотке. Снаряды рвались то ближе, то дальше.

Лопатину несколько раз казалось, что этот снаряд последний, и он загадывал, что если этот снаряд последний, то его уже не убьют и вообще все в его жизни будет хорошо. В разные дни войны он по-разному думал и о своей жизни, и о своей смерти. Но сейчас, думая и о жизни и о смерти, думал о той женщине в Ташкенте...

Но снаряды продолжали рваться, и когда наконец наступила тишина и он, еще не решаясь встать, оглушенно приподнялся с земли на локтях, то увидел, как сверху, из окопчика, к нему бежит человек.

- А мы думали вас убило, - радостно улыбаясь, сказал подбежавший капитан. - Пойдемте, командующий приглашает на НП.

Лопатин оглянулся: полевая сумка лежала на снегу с оторванным ремнем. Он поднял ее и пошел вслед за капитаном.

- Здравствуйте, Василий Николаевич, милости прошу, - сказал Ефимов, когда Лопатин, потеснив людей, набившихся в узком окопе, подошел к нему. Узнал вас издали перед началом артналета. Реакция у вас хорошая. Первый близко разорвался!

Он снял папаху и, ударив ею о колено, стряхнул комочки земли.

- Неприятно было - в землю носом почти у цели, - сказал Лопатин.

- На войне вообще мало приятного, - Ефимов надел папаху на свою бритую голову и повернулся к стоявшему рядом с ним

полковнику: - Знакомьтесь, наш хозяин, командир дивизии полковник Шелыганов. А это товарищ Лопатин из "Красной звезды", о котором доложил нам с вами ваш начальник штаба. Мой одесский соратник! Позвоните, Андрей Иванович, артиллеристам, проверьте, как подготовлен огонь. Надо начинать.

Полковник пошел по окопу, а Ефимов сказал Лопатину:

- Рад увидеть живым и здравым!

- И я рад! - сказал Лопатин. И неожиданно для себя добавил: - А я у вас дома был.

- Где дома? - спросил Ефимов так, словно у него не было и не могло быть никакого другого дома, кроме войны.

- На бывшей вашей квартире в Ташкенте. Я через Ташкент ехал.

- Ну и как там, не набезобразничали товарищи артисты? Картинки мои висят?

- Висят.

- Что докладывают? - повернулся Ефимов к подошедшему комадиру дивизии.

- Докладывают, что готовы. "Катюши" подъехали и стали на позицию.

- Тогда с богом. Командуйте. - Ефимов с биноклем в руках облокотился на бруствер окопа.

Лопатин тоже выглянул. Впереди видна была змеившаяся по лощине полоса льда, похожая на реку.

А за этой полосой льда виднелись дома.

- Это и есть Горькая балка? - спросил Лопатин стоявшего рядом с ним адъютанта.

- Да, - сказал тот. - И протока - Горькая балка, и поселок - Горькая балка. Должны взять его сегодня.

Впереди было видно движение подходивших к заледенелой протоке цепочек пехоты и слышалась пулеметная стрельба. Артиллерия пока молчала.

"Какое же сегодня? Восьмое? - подумал Лопатин. - Если считать с утра девятнадцатого, с той бомбежки по дороге в Москву, на объезде у Погорелого городища, - двадцать дней без войны. Да, так. И так и не так. Потому что..."

Он не успел додумать. Сзади ударили "катюши". Их чиркавшие прямо над головой желтые стрелы с ревом падали там, впереди, все плотней загораживая черным забором взрывов еще минуту назад хорошо видный поселок Горькая балка...